

С. С.
ЮШКЕВИЧ

Избранное



Семен Соломонович Юшкевич

Евреи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663335

С. С. Юшкевич. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

«– Я говорю, – давно уже шамкал старичок, торговавший свечами вразнос, обращаясь то к Шлойме, то к женщинам, и его поддерживал керосинщик, – нужно набрать воды в рот и молчать. Когда мы сподобимся увидеть землю Израиля, то там разверзнутся наши уста, и мы вспомним обо всем.

Разговоры сразу утихли. Что-то огромное, более светлое, чем день, на миг ослепило всех. Улица кипела, – выкрикивали, торговали, клялись, и только здесь, в этой кучке, происходило великолепное и трогательное, вызывавшее на глазах слезы печали.

Слово не произносилось. Одно священное имя земли Израиля покрыло все слова и зазвучало дорогим, радостным лозунгом...»

Содержание

1	4
2	20
3	37
4	57
5	73
6	91
7	110
8	127
9	146
10	165
11	184
12	202

Семен Соломонович Юшкевич Евреи

1

Трудовой день кончился. Большой двор, где помещались склады торговцев старого железа, постепенно погружался в тишину... Уходили рабочие, запыленные, усталые, и все, будто сговорились, шли, опустив головы, – приказчики закрывали склады большими ключами, похожими на топорники, а хозяева, наблюдая за ними, торопливо отдавали приказания на следующий день.

Спускалась ночь, безмятежная, тихая. В дворницкой показался свет, и такой же безмятежный, тихий, – он пал во двор.

– Где Нахман? – раздался чей-то голос.

От горки железных тюков отделилось несколько рабочих. Сейчас же к ним вышел хозяин, худенький, жалкий, в заплатах сюртучке, с рыжей бороденкой, торчавшей клином набок, и, заговорив с ними, стал производить расчет.

– Где Нахман? – поминутно спрашивал он и, с беспокойством оглядываясь, внимательно искал глазами подле скла-

дов и горок тюков.

Рабочие стояли в беспорядке, а один из них, худой и крепкий, в грязной рубаше с разорванным воротом, – и по подергиванию плеч видно было, как это мешало ему теперь, хватая себя за лоб, по пальцам проверял получку, не зная, как увериться, что он не ошибся.

Когда счета были, наконец, окончены и рабочие, попросив напрасно на чай, хмурые, двинулись к воротам, – неизвестно откуда появился Нахман и, подавая человеку с рыжей бороденкой толстый ключ, громко и отчетливо сказал:

– Хозяин, дайте мне расчет.

Лицо у него теперь было серьезным и упрямым, и хозяин, пристально посмотрев на него, сейчас же с жаром заговорил... Заложив руки в карманы, Нахман спокойно слушал возражения и, когда нужно было хозяину ответить на вопрос, настойчиво повторял одно:

– Дайте мне расчет, дайте мне расчет.

Они медленно пошли к воротам, а хозяин все говорил о том же на разные лады и оттого, что чувствовал бессилие и ненужность своих слов, начал просить, а Нахман, мотая головой, упрямо твердил:

– Я не могу больше, дайте мне расчет...

Накануне вечером это было окончательно им решено. На квартире, где он жил, его уже ждал сундучок со сложенными вещами, и, едва слушая хозяина, он думал только о том, какое будет наслаждение взвалить сундучок на плечи и убе-

жать из этой улицы, куда глаза глядят.

Три года прошло с тех пор, как он поступил на службу, и эти три года, проведенные здесь, среди торговцев-евреев, были годами большой школы страдания, страдания собственного, чужого, проникновения в жизнь и мучительного роста собственного сознания. Теперь он вступал уже в тот возраст, когда кончается расслойка чувств и начинают действовать определенные симпатии и настроения, – когда всякий поступок, влечение должны быть непременно исполнены, удовлетворены, хотя бы и во вред себе. Постоянно в труде, черном и тяжелом, выросший на воздухе пригородных дворов, он до службы жил жизнью чернорабочего, и оттого, что большую часть дня он проводил в борьбе с неодушевленными, грубыми предметами, для которой он напрягал и силу своих мускулов и упрямство воли, – он вырос здоровым, крепким молодцом, смелым и самостоятельным. Он с трудом понимал страх и на службе с удивлением глядел на окружавший его люд евреев-торговцев, таких испуганных, замученных, – и был холоден к ним. В его настроении здорового, познавшего тяжесть и крепость предметов, человека, который победил их: землю, камень, железо, кладь, – ему казалось все поборимым, все доступным для сильной спины, сильных рук и несгибающихся ног. И подобно тому, как он не знал и едва догадывался о страхе, молодой и неопытный, он еще меньше боялся жизни и думал о ней так же легко, как о груде камней, которую нужно перетаскивать с одного

места на другое.

В ранней молодости, когда семья еще не требовала его труда и дум о ней, и сама заботилась о том, чтобы приготовить его к жизни вооруженным, – он провел четыре года в еврейском училище и несложную науку прошел легко, с наслаждением и блестяще. Здесь родились его первые мечты о жизни, светлой, радостной, и время проходило торопливо, с лихорадочным требованием от кого-то «дальше, дальше» – словно он спешил перейти какую-то роковую черту. Но он не успел, и в тринадцать лет был уже в новой и тяжелой роли кормильца осиротевшей семьи из матери и маленькой девочки, – и училище, со всем радостным, что оно воспитывало в нем, погребло навсегда. Семье он служил всяческим путем: случайными услугами, был на побегушках, держался возле взрослых чернорабочих, ездил извозчиком, скрывая свой возраст под большим мужицким армяком и твердой, как железо, шляпой, и не было того труда, не существовало такого усилия и унижения для его горячего, преданного сердца, которые он не перенес бы ради заработка. И это время – три года – нарастание свежих сил, когда окружающий мир, как исполинская громада, к которой приближаешься, начинает постепенно раскрываться всеми своими чудесами и обнажается бесконечная пирамидальная лестница, где на широких ступенях разместились люди в разных одеждах, с разной речью, привычками, поведением, – когда кровь, как молодое вино, в своем брожении рисует в особенных, непо-

вторяющихся образах – привлекательных, таинственных – эту развертывающуюся громаду, – это время, три великолепных года, пролетели, как молния, потухая в черном труде. И лишь после того, как и вторые надежды были похоронены крепко и навсегда под теми же плитами, где лежали его отец и брат, а теперь легли мать и маленькая девочка, – он, стоя на кладбище с горсточкой соседей, провожавших дорогие тела, на миг ужаснулся перед жизнью, открывшей свою бездну... Тогда, потому что рядом с ним стояли печальные старики в своих убогих одеждах – живые памятники когда-то хлопотавших и борющихся с жизнью людей – и плакали не о своем, а о его горе, он познал в них братьев...

– Я уверяю тебя, Нахман, ты не оставишь меня, – говорил молящим голосом хозяин, заглядывая ему в глаза, и Нахман отворачивался от него. – Куда ты пойдешь?

По улицам шли люди, не оборачивались, размахивали руками, и то, что они могли идти куда угодно, вызвало в Нахмане такую острую жажду свободы, что он с увлечением крикнул:

– Я не слушаю вас, хозяин. Вы видите людей. Они идут по своей воле. Они уходят из этой улицы.

Жизнь не останавливалась. Теперь Нахман уже бросил извозничий промысел, отказался от побегушек, унижений. Он преобразился в высокого, широкоплечего юношу, краснощекого, с упрямым лбом. Он уже не спрашивал себя о будущем и беспечно отдавался случаю, любопытный до жадности, что

с ним завтра будет. Его тешила мысль гадать ночью о следующем дне, и, расправляя уставшие члены, когда ложился, он радовался своей силе, которая была его защитником. Подобно всем чернорабочим, он по утрам выходил на биржу, нисколько не чувствуя унижения в том, что его покупают, как хорошую, исправную машину, которая весело и споро делает работу для чужого. Это был самый странный, самый безумный период в его жизни, когда собственная воля оставалась мертвой, а он только впитывал все новое и интересное, что проходило мимо него, что имело к нему отношение. И оттого, что он только впитывал, с любопытством глядел кругом себя, и оттого, что был слишком молод, – все обидное, несправедливое, неразрешенное, омут необеспеченности и разгром, который он производил в среди людей, прошло мимо него, не затронув души.

– Жизнь легка, – упрямо говорил он себе, не желая признать ни своих, ни чужих страданий; и снова текли дни, недели, похожие, как братья, друг на друга, но жить все-таки становилось не под силу.

– Надо устроиться, – решил он.

И когда он поступил на службу к торговцу старым железом, то здесь, на большом дворе, среди нищих хозяев, перекупщиков, маклеров, среди измученных приказчиков, погибавших в безумном труде, в самом сердце оскорбительной жизни бесправия, бессмысленности, непонимания первых потребностей человека, – он почувствовал кнут над со-

бой. Как будто до сих пор он дышал свободно, а теперь ему набросили на шею петлю. Наступали дни, что с утра до поздней ночи нужно было переносить огромные тяжести, исходить версты по малейшему недоразумению хозяина с покупателем, недоедать и недосыпать, и быть в вечном напряжении. Но не труд его испугал. Дикий и необузданный, он с невероятными усилиями подчинял свое свободолюбие этой странной хозяйской машине, дававшей хлеб, но словно нарочно устроенной, чтобы мучить людей. Теперь он уже мечтал перед сном о завтрашнем дне, и потому что этот день обещал ему сытость и нельзя было отказаться от нее – он думал о нем с ненавистью, а себя презирал.

С каждым разом все больше выяснялась и простота и сложность его обязанностей, вся суэта, столь желанная и радостная для хозяина и мучительная для него. Сначала, инстинктивно ища облегчения, он внезапно покорился. Он набросился на работу, мечтая насытить жадность хозяина, утолить заведенную машину, натворивши сразу много и лишнее. В него как бы вселился бес. С напряженными жилами на лбу, ни на кого не глядя, он без отдыха носился по двору, возбуждая своим рвением ненависть товарищей, служивших в соседних складах. Он долго не понимал их, – но все же эти новые люди и новые отношения, что-то бессильное и жалкое в их борьбе с жизнью и в результатах – овладевали его вниманием и сердцем. Не в голом и диком страдании был весь ужас, но то, что совершалось здесь, на его глазах

ежечасно, ежедневно, как опасность, заставило его насторожиться, приготовиться... Чужие жизни, страшные, замученные открывались ему, и, подобно лесу лезвий, среди которых нужно было пробираться, они били, наносили раны, останавливали, – и каждый раз нужно было отдавать кусок горячего сердца, чтобы не закричать от жалости.

Шла борьба за хлеб. Изо дня в день, словно в вечной, темной пустыне, не видя ни начала, ни конца, с одним неизменным криком: «хлеба, и ничего больше» – шли люди, употребляя гигантские усилия для своего спасения. Они истязали себя, как добровольные мученики, отдавая без дум за кусок хлеба все – здоровье, силу, способности.

Подобно саранче,двигающейся прямо и упорно к полю, которое должно их прокормить, они верили в хорошее, шли к нему и легко и бесславно погибали, не подозревая своей участи ни одну минуту. Они верили...

Это будущее чудилось им во всем.

Усталые, со странными лицами, евреи оборванные, евреи бедные, с горящими глазами и тысячами планов в голове, слепые ко всему большому миру, которого они не знали и не хотели знать, своими жгучими, страстными разговорами и спорами они, как под солнцем, шли в этой темной пустыне, где было так мало приготовлено для них. Здоровые и слабые нищие хозяева, нищие перекупщики, нищие маклеры, – все делали одно и то же: изобретали, работали, суетились.

Ничтожнейший товар, который каким-то непостижимым

чудом оказывался нужным, превращался в хлеб, и кусок старого железа, от которого кормились тысячи семей, вдохновлял мысль, вызывал свои надежды... На грязный алтарь бросались человеческие жертвы...

Летом, в раскаленную жару, когда пар подымался от обожженной спины, зимою, в снег, когда даже движение по улицам прекращалось, и осенью, в сырость и дождь, – важная работа шла на огромном дворе. Стучали молотками, сбивались отрезки, перевязывались железные тюки, с кряхтением и оханьем переносились тяжести, раскалывались чугунные громадины, – и железо лязгало с утра до ночи, как злой сторожевой пес. Не было предела своему истязанию. Лопалась кожа на руках, на плечах, темнело в глазах, терялось дыхание, – все шло в железный тюк вместе с алканием лучшего будущего. Погруженные по сердце в труд, измученные, в длиннополых сюртуках, как армия бессмысленных рабов, служившая неведомому хозяину, – никто не бросал на миг дела. Что им был весь прекрасный мир? Что им была жизнь? Шла борьба за хлеб.

Вечно в заботах, в темноте, они уже растеряли то малое, что было им известно, и презирали, смеялись над всем, гордо уверенные, что правда на их стороне. Когда наступали минуты отдыха, они шли в трактир и торопливо, не умывшись, закусывали и продолжали те же разговоры о продаже, покупке, о ценах, стоявших на товары. Они пили водку маленькими рюмочками, причмокивая и подмигивая друг другу, и

тогда их нельзя было слушать. В моменты, когда эти одичавшие люди не были призваны к страданию, они разговаривали странным языком, выработавшимся в их занятии, шутили гнусными, неожиданными шутками, задирали друг друга, мучили. Целомудренные, как девушки, в жизни, здесь, после выпитой маленькой рюмочки, они любили говорить о женщинах, о девушках, девочках, и циничное воображение, возбужденное воздержанием, смешивало такие необузданные представления разврата, что становилось страшно с ними. И только истинно великими, истинно людьми они являлись в те минуты, когда жизнь вырывала из их сердца стон. Тогда они потрясали, тогда их облагороженный страданием язык выбрасывал такие чудеса из души, что снова и снова хотелось святой правды, святого света, снова и снова хотелось бурного дождя, который бы смыл и очистил землю от невинной крови и мучений.

Нахман еще не понимал ясно, что случилось, что происходит с ним, но одна искра обжигала его неустанно, шли дни за днями, и гнев его незаметно выдыхался. И то, что он начинал свыкаться с неизбежностью безумного труда, который раздавил и рассек его, что со всех сторон чужая жизнь билась в его душу и вырывала у нее участие, он сам пришел к норме, как приводится к правильному бегу молодая лошадь, если перегрузить ее тяжестью.

Постепенно у него появились товарищи. На работе, рядом с ним, и в свободные минуты дня, по вечерам, или в редкие

праздники – все они, как ни отличались друг от друга, все они носили одну мысль. Это была мысль о хлебе и как его достать. Это была мысль о том, как сделать, чтобы он приходил без мучительных усилий, чтобы его было с избытком. У них были семьи на руках, растерянные и ни к чему не способные люди, и сестры, матери, старики, в других слоях сами добывавшие себе пропитание, здесь своими тяжелыми телами падали на спины юношей и требовали от них заботы и труда. Но к этой главной мысли о хлебе, все-таки каким-то необъяснимым образом были прикреплены и другие, – может быть, оттого, что труд еще не успел задушить их. Они шли под жестоким ярмом, но все же было что-то нравственное в их разговорах, что-то упорно хорошее, чистое; и бессознательно – но неся их гимн добру. Слушая их трепетные речи о жизни, о Боге, о совести, слушая этот молодой задорный звон, их страстную убежденность в своей правде, до страдания мучила мысль, что скоро и они превратятся в тупых, равнодушных, одичалых людей.

Какие великолепные люди пропадали, какие сердца, какие фанатики героизма!

Товарищ Натан стал особенно близок Нахману. Он был скромный, нежный, любил книги, и нельзя было понять, как он выносил свое суровое существование. Его сила была в какой-то милой теплоте, в неотразимо убедительных жестах. И своими порывами к чистой жизни, которая мечталась ему в виде красивого города на равнине, правильно разделенного

на кварталы, где в правильных, белых домах, очень низеньких и просторных жили семьи, справедливые и гуманные, все связанные одною общею радостью братства, – он скоро покори́л Нахмана.

Когда наступал вечер и склады закрывались, когда над огромным, молчаливым двором появлялась луна, все небо заливалось беловатой синевою, и от него как бы нисходила тишина ночи, – оба усаживались рядом, словно влюбленные, в предчувствии радости духовного общения. Они закуривали и мечтательно глядели на синий дым, как он медленно тянулся к луне, и взоры их долго утопали в тихом и мягком небе. Тишина покоряла. Мерные удары шагов на улице отзывались как будто из другого мира, и, подобно спящему, которому мучительно не хочется прервать сладкой дремоты, так и им тяжело и больно было подумать о том, что есть жизнь действительная, каторжная.

– В этом большом городе, – говорил Натан, по привычке поднимая обе руки, как в мольбе, и указывая на толщу домов, важной громадою стоявших на горе, – есть столько богатств, что мне становится стыдно за людей, которые ничего не придумали против страданий.

Луна передвигалась куда-то вправо, Большая Медведица выходила вся из-за высокой трубы мельницы и теперь мигала всеми своими звездами, а Натан уже другим тоном, другими словами, то взволнованными, то меланхоличными, рассказывал о чистом городе на большой равнине, среди солн-

ца, простора, цветов, где люди живут в радостном родстве.

Часто они говорили о женщинах, и снова хорошее, нравственное рождала душа Натана. Женщина! Какое другое славное, пылавшее и гревшее, как солнце, слово могло выразить то очарование, какое он переживал, когда благоговейно произносил: женщина. Вся любовь и нравственные усилия, которыми он был переполнен, звали его к падшим. Он их не знал, никогда не бывал у них, и одна только невыносимая мысль, что в мире есть падшие, вызывала в нем такое сострадание, словно погибали его сестры.

– Я полюблю только проститутку, – говорил он Нахману, и тот с волнением его слушал, – она будет моею сестрою, моею молодою матерью, Нахман, моей святой, пострадавшей.

И Нахман, подчиняясь чарам его волнения, чарам его голоса, повторял, словно клялся:

– Я женюсь на проститутке, Натан.

Натан был первым, который тронул мысль Нахмана, который открыл, как нехорошо устроена жизнь, и сколь чудесной она могла бы стать, если бы кто-нибудь сумел убедить могущественных людей взяться за это. И Нахман все чаще задумывался о своем положении, томился на службе, и его уже ничто не убеждало, что завтрашний день будет сытым. Кругом он видел одно и то же, в разных подобиях, и этому не виделось конца. Молодежь изнывала, не зная, куда деваться от ударов. Они спорили и говорили со слов стариков о каких-то лучших годах, когда в городе было еще мало народа, и эта

молодежь, выросшая в тесноте, разрешала свои муки и в ссорах, и в жалобах, и в действиях. Одни мечтали об эмиграции за океан, другие грозили выйти из еврейства, которое мешало им свободно передвигаться в стране, третьи увлекались сионизмом, незаметно отдавались идее и бредили еврейским царством, часть становилась радикально и заполняла собою кадры нового воинства, – но за всем этим слышались сдавленные, мучительные крики: «хлеба, свободы!»...

Нахман терялся в этом хаосе. И когда вскоре Натана забрали в солдаты, чистый свет, светивший ему, потух. Наступала темная полоса собственного приспособления и осиливания вопросов. Действительная жизнь все тяжелее накладывала свою руку на него, и мечты погасли.

Каждый день приносил что-нибудь новое, нелепое. Чем больше он знакомился со средой, в которой жил, тем глубже язвы неустройства проникали в его сознание, тем страстнее хотелось уйти отсюда. Теперь он уже ясно видел все пружины борьбы за хлеб, и становилось невыносимым оставаться в этой исстрадавшейся среде, где ежедневно для ушей, желавших слушать, неслись вопли раздавленных существований. Ему вспоминалась прежняя жизнь, когда он был свободным поденщиком, и теперь она казалась ему временем гигантов.

Все люди были сильными, здоровыми, насмешливыми – как будто не существовало страданий, и они не знали мучений. Тягота царила, но никто не думал о завтрашнем дне, в котором солнце должно было быть большим, горячим, а

работа широким размахом души, бродивших сил, радостью тела. Может быть оттого, что тогда он был ребенком, – но он никогда не видел таких захудалых, узкогрудых, сморщенных людей, не слышал этого говора с припевом, в котором лежали притаившиеся стоны. Не было и вопросов жгучих, назойливых, – и казалось, там, сзади, в этом детстве лежало царство свободы.

– Я убегу отсюда, – пробегало у него в голове, и он пугался.

Но картины продолжали преследовать. Чудно и упоительно было работать с партией поденщиков. Прижавшись головою к мешку с пшеницей, лежавшему на его голом затылке, сам теплый, веселый, чуть не подпрыгивая, он легко выбегал из амбаров, перекликался со здоровыми людьми, – и, казалось, тогда весь мир, лежавший кругом и далеко, был темным пятном. Как сладок был черный хлеб после труда! Расстегнутая косоворотка открывала крепкую молодую грудь, легко дышавшую. Сильные челюсти, с зубами, подобными жерновам и топорам, чудно работали. И хороши были ночи в небольшой комнате, где вповалку спали десятки людей, с теплыми телами, которые грели, как ласка... Вспоминал ли он то время, когда был на побегушках, или когда терся подле взрослых, вспоминал ли он время, когда ездил извозчиком, и в тяжелом армяке, с твердой, как железо, шапкой на голове, носился целые ночи до долгожданного утра, – все теперь казалось в песнях. Пахнул армяк, широкий и свободный, тя-

желая шапка мнилась из золота, а холодные ночи, и мокрые, и звездные, с чуткою улицей, пугливо вздрагивавшей от каждого шороха, были как бы не от мира, и верилось – не могли уже повториться. Время, время, где оно?

– Город огромный, – все чаще думалось ему, – я убегу отсюда.

И чем больше он думал об этом, тем невыносимее было видеть всех несчастных, которые собрались в этом большом дворе, своего нищего хозяина, который каждый раз бегал в какой-нибудь угол, чтобы вправить выпавшую грыжу, и, возвращаясь, говорил ему:

– Я не знаю, Нахман, зачем я еще живу. Уверю тебя, Нахман...

В последние дни это было окончательно решено им, и все приготовления к бегству из этой улицы были сделаны...

– Если бы ты, Нахман, хотел пожалеть меня, – робко говорил хозяин.

– Я ухожу, хозяин, – спокойно возразил Нахман.

В темноте раздались его уверенные шаги. Хозяин долго глядел ему вслед.

2

Город спал.

С правой стороны, у самого начала его окраины, где начинались еврейские кварталы с их убогими, и как будто нарочито старыми, неустроенными домами, уже пронесся долгий, хлопотливый шум.

Огромная площадь, разместившая в своих углах до тридцати тысяч душ нищеты, тревожно волновалась. Наступало снова утро труда, службы большому городу, который и во сне оставался повелителем.

Город спал. Каждый в кварталах окраины уже был на посту, но было что-то роковое, неуничтожимое проклятие в том, что собственная работа служила всем – только не себе. С восходом солнца, угрюмые, сонные, усталые, с призраком в душе о спасении, – они принимались за труд, но каждая мысль, каждое движение вместе с глотком грязного воздуха, которым дышали здесь, все-таки шли на устройство огромного, чужого города, на создание его довольства, культуры, благоустройства. Подобно чудовищному насосу, хитроумно устроенному, город высасывал из окраин все, что можно взять у человека: силу и мощь, трепетание мысли, размах души взволнованной, печаль уставшей души, и претворял все это в пышное расцветание, в красоту, лежавшую в его улицах, в его садах, в его театрах и зданиях, во всем, чем

он жил, о чем мечтал. Сильный и страшный, гордый в своем презрении к этим покорным – он, подобно бесстыдному шулеру, всяческими способами, угрозой, проповедью, ханжеством или криком, выколачивал из окраин нужное для себя.

Непобедимый – он поддерживал всеми своими орудиями шулерской изобретательности положение, по которому десятки тысяч рабов работали на него, думая, что делают собственную судьбу. И эти десятки тысяч рабов из окраин, и те тысячи, которым он позволял ютиться в своих владениях, все наперебой вырывая друг у друга право быть сегодня счастливым рабом, с радостью отдавали ему все: бессильных стариков и старух, юношей здоровых, цветущих и девушек для разврата, для услуг.

Величавый, своими уютными, красиво построенными монументальными зданиями и домами, своими музеями и храмами искусств, своими церквями, синагогами, мечетями, костелами, своими правильными улицами, великолепными лавками, изящными базарами для довольных и сытых – он мирно спал, и задумчивые глаза его окон без тревоги глядели на окраины, где над домами уже клубился дым от печей, а на улицах, кривых, гнусных, позорных памятниках человеческого неравенства, шла борьба за него и для него.

Еврейская окраина стояла вправо, и три рынка, подобно житницам, соединяли с ней город. Первым в стороне начинался клинообразный, старинный Толкучий Рынок – наследие некогда взрощенной, нищенской культуры. Здесь при-

ютились ничтожные строения, лавочки, цирюльни для простонародья, бараки со старой мебелью, будочки с поношенным платьем; здесь с утра до ночи стояли, толкаясь, солдаты, босяки, старьевщики, бабы, приезжие мужики в свитках, и среди них шныряли воры, взрослые и подростки; здесь продавались всевозможные предметы, бывшие в употреблении, и любовь и ласки грязными, пьяными, больными существами, – весь день носился гул голосов торговцев, покупателей, обманутых простаков и избитых, – и этот всеобщий базар красноречивыми, пылающими словами кричал о бессилии человечества. Все обиженное судьбою, все некультурное и преступное сходилось здесь. Один час в этом вертепе бедности, бесправия, среди несчастных, животноподобных людей, – и словно скалы обрушивались на веру в человека.

Грабеж среди белого дня, обман, варварское издевательство, трусость и гнусная смелость, бездонное мучительство за каждый грош, – что могло возродить эти невинный жертвы, какой святой огонь мог их привлечь?

Слева вырастали крыши Старого Рынка с городскими часами посередине. Разделенный улицей на две половины и окруженный низенькими домами, где жил небогатый люд, – он соединялся, словно мостом, одним оживленным кварталом с третьей житницей – Еврейским Базаром. Здесь приютился музей нищеты. Широкий и разбросанный базар этот, подобно гигантскому удаву, мощным полукольцом прижался к еврейской окраине и вместе с ней, погруженный в грязь

и бедноту, жил жизнью труда и унижения. Какие странные, выбывшие из строя люди собирались здесь. Больные старухи и неспособные старики сидели длинными рядами подле своих корзин, и среди этой печальной толпы, словно на утеху в горе бродили нищие, калеки, втискивая в общий шум свои заунывные жалобы. В глубине обширных дворов, под навесами и без них, стояли торговцы в мясных, бакалейных и овощных лавках. В рыбном ряду, у повозок и корзин, подле живой и битой птицы, сидели торговки, иные с грудными детьми на руках, и зычным голосом выкрикивали свой товар. Еще дальше, вон из дворов, начинались ветхие дома окраины, приютившие в своих норах базарный люд, фабричных рабочих и работниц, ремесленников и живущих с воздуха. А среди них, как очаг заразы, то там, то здесь, яркими цветами своих фонарей, кричали дома терпимости, где измученный народ искал забвения от жизни.

Утро выростало. В том оживленном квартале, который соединял Старый Рынок с Еврейским, день уже давно начался, и улица была запружена крестьянами из ближайших деревень, колонистами-немцами и их подводами. Стоял базарный день. Большие лавки ломались от покупателей, которые входили, выходили, возвращались снова и странными приемами, точно были лошадиными барышниками, совершали покупки. В воздухе пахло сырой соломой и пометом. Вдоль узких тротуаров от начала до конца улицы, разложив свои товары на земле, стояли мелкие торговцы-евреи и дики-

ми голосами, требующими и молящими, останавливали крестьян. Из Старого Рынка каждый раз набегали волны смешанных звуков, кричали гуси, в клетках пели петухи, привязанные у телег, мычали коровы, долго и протяжно, и будто звали вон отсюда, в поле, на траву.

Слева звенел еврейский базар голосами своих торговков, и на этой огромной площади жизнь была ключом.

Прислонившись вплотную к стене дома, старик Шлойма заканчивал спешную работу, которую должен был сдать к девяти часам. Он был высокий, с широкой и длинной серой бородой, с крупным носом, крупными чертами лица, сидел без шапки, без сюртука, и от взмахов руки, сквозь расстегнутую рубашку открывалась его худая грудь, густо заросшая волосами. Теперь, повернув сапог голенищем к земле, он аккуратно забивал деревянные гвоздики в подошву и каждый раз скидывал поверх очков глаза на солнце.

– Доброе утро, Шлойма, – раздался подле него женский голос.

Он поднял глаза, сейчас же опустил их и пробормотал:

– Это вы, Сима, – доброе утро!

Женщина прошла дальше, но сейчас же вспомнила о чем-то и вернулась назад. Она была худая, с большим, больным животом, вечно лечилась, а по субботам, боясь пропустить врача для бедных, дежурила в лечебнице с раннего утра до двух часов дня, когда он приезжал. Сгибаясь под тяжестью двух корзин, которые несла на согнутых локтях, выпятив жи-

вот и задыхаясь, она рассказывала Шлойме длинную историю о своем бедном мальчике. Шум кругом звенел, как колокол, над ушами, и, стараясь расслышать собственные слова, она громко кричала, будто Шлойма был глух.

– Это вам нравится, – несколько раз начинала она и обрывалась. – Разве нет суда? В городе должен быть старший, город не может быть без старшего...

– Говорите ясно, – перебил ее Шлойма своим суровым голосом. – Вы потеряете день...

– Ну вот, и нашла вас, – произнесла вдруг какая-то женщина, остановившись подле Симы, и продолжала, будто Сима была свободна и слушала ее: – Куда вы девались? Вы разговаривали с Шлоймой. Оставьте этого еврея. Здравствуйтесь, Шлойма. Что ваша дочка?

Веселая, бойкая, с живыми смеющимися глазами, она как будто дышала в этой суете особенным воздухом и опьянялась им. Толпы людей, стоявшие, ходившие, сидевшие, возбуждали ее, и ей жадно хотелось успеть бросить всем встречным слово, всем рассказать, что ей приятно, весело, что она сама веселая, приятная, и что быть здесь под огромным солнцем, с людьми – чудная радость. Она говорила, тараторила, пожирала глазами всю улицу, всю суету, схватывала на лету чужие разговоры, бросала слова, мечтая только о том, чтобы затронуть побольше людей.

– Идем, идем, – повторяла она, бесцеремонно таща Симу за руку. – Смотрите, как сегодня весело здесь. Я сказала бы

– свадьба. А что там? Ссорятся – нет, кажется, дерутся. Мой Господь, чего же вы стоите, – деревянная вы. – Она побежала к своим корзинам, крича: – Смотрите же, не потеряйте меня! – А Сима, с трудом подняв плечи и качая головой, сказала:

– Эта еврейка, Шлойма, просто казак, а не женщина. Спросите ее – чего она радуется. От камня скорее добьетесь ответа. Веселая женщина. Вот на днях ее старший сын попался в краже...

– Время не стоит, – повторил Шлойма, не глядя на нее.

– Я потеряла свою жизнь, Шлойма, – что мне день. Пятнадцать лет я борюсь с корзинами, которые хотят притянуть меня к земле, – что значит для меня лишний день. Вам слушать, – горе у меня. Имейте хоть терпение. У меня четыре дочери и один сын-дурачок. Кто наш бог? Эти две корзины. Не они меня – я их ношу. Я должна кормить моих детей, Шлойма, хотя и больших, но детей, все-таки детей. Теперь столяр выгнал моего сыночка. Конечно, мой Мехеле не хватает звезд с неба, но сделанный стол или шкаф ведь тоже не звезда. И пропал у сыночка год службы...

– Ступайте к столяру и вырвите у него глаза, – произнес Шлойма, оглядывая ее.

– Теперь в доме драки, – продолжала Сима с ужасом в голосе. – Сыночку негде спать, девушки его бьют, и он плачет... Скажите вы, с братом стыдно спать? Так я сплю с ним. Ну, а старшая моя, кажется, забеременела от шапочника.

У нее вдруг набежали слезы и потекли по морщинам. Прохожие толкали ее, но она не падала и передвигалась с корзинами, будто те были костылями и поддерживали...

– Смотрите, сколько здесь людей, – дрожа губами, выговорила она, – и никто не может мне помочь. Вот они бегают, покупают, суетятся, – я тут между ними, а им до меня дела нет.

– Идите уже, идите, добрая женщина, – произнес Шлойма, еще раз оглядывая ее, – Разве вы одна такая в городе? Даже смешно было бы, если бы вы не имели больного живота, или если бы ваши девушки пошли к венцу. Ну и пусть их венчает черная ночь. Идите, добрая дурочка, и не мучьте меня своими рассказами. День и великий, и маленький. Крикните Богу; может быть, Он послушается. Скажите Ему: Господи, сними с человека наказание нищеты.

Он застучал молотом, а Сима, постояв, не скажет ли Шлойма еще чего-нибудь, поплелась, медленно переступая.

День совсем наступил.

Люди, потные и озабоченные, шли нестройно, поддаваясь натиску сзади. Торговцы мелким товаром уже охрипли от криков. Торговки, устроившись на самодельных сидениях, собирались завтракать.

Шум переходил от больших лавок к рынкам. Пробегали конки, переполненные чиновниками, гимназистами, конторщиками; на дрожках разъезжали люди, которым здесь завидовали.

Усталость овладевала всеми – покупателями и торговцами. Из дворов уже неслись песни нищих, оплакивавших еврейскую жизнь трогательными, дрожащими голосами, – и они, как плач беззащитного ребенка, вызывали печаль в душе.

– Скажи Ему, – думал с сарказмом Шлойма, – сними с человека проклятие нищеты.

Кто-то тронул его за плечо.

– Ну вот, – пробормотал он, недовольный...

– Очень хорошо, – произнес глухим голосом худенький человек с плоскими плечами, протягивая Шлойме один палец, и тот его тронул своим, – вас я ищу. Вот видите этого человека, ради него вы мне нужны. Доброе утро, Шлойма. Стучите молотком? Стучите, стучите, – здесь ведь ужасно тихо.

Он засмеялся и раскашлялся скверным кашлем чахоточного, а кто-то подле него произнес крепким голосом, потирая руки:

– Веселенький день, честное слово. Хотел бы иметь половину того, что здесь раскрадут сегодня.

– Куда ты, Хаим? – произнес Шлойма когда чахоточный успокоился. – Кто это с тобою?

– Дайте передохнуть, Шлойма. Вы рассмотрели этого человека? Его зовут Нахманом. На днях он бросил службу, и, если бы вы знали почему, то даже ваш молоток покраснел бы. Теперь он решил сделаться торговцем в ряду и ищет компа-

ньона. Может быть, вы знаете кого-нибудь?

Нахман стоял, потупившись, словно только что почувствовал стыд за себя. Шлойма внимательно посмотрел на него и пробормотал:

– У этого парня славное лицо.

– Я жду, Шлойма, – с нетерпением произнес чахоточный.

– Найдется человек. Зайди с ним ко мне вечером, и тогда поговорим. Что у тебя слышно? Куда ты сам бежишь?

– Бегу, – повторил чахоточный, – я бы летел, не будь пяти. Не слышали моего счастья? Нет? Не может быть. Ведь мой лейпцигский билет выиграл двадцать четыре рубля! Что скажете, Шлойма? Одна пятерка помешала. Будь вместо нее шестерка, и вот в этом кармане теперь лежало бы десять тысяч марок. Положим, я таки не спал от досады всю ночь, но ведь уже началось. Уже началось, я вам говорю.

– Ну, а что слышно на фабрике? – спросил Шлойма.

– Фабрика все стоит. Что ей?

– А ребята?

– Ребята? Вы спрашиваете, как ребенок? Ребята голодают, дети голодают, женщины голодают...

– Ты сам не был замешан?..

– Я не такой дурак, – сухо выговорил он. – Я верю в лейпцигский билет. Я чахоточный, и жена моя стала чахоточной от этого проклятого табака, и теперь нам все равно, – слышите, все равно. Даже если бы город провалился. И я ни во что не мешаюсь. Они здоровые, молодые, смелые, а я боюсь.

Я даже кровью начинаю плевать от страха Я хочу работать, как вы – жить. Но ребята меня не пускают, – я не иду. И ничего больше.

– Но ребята ведь правы?

– Конечно, слабый всегда прав. Я с женой вырабатываю копеек семьдесят или восемьдесят в день, но у нас нет детей, и мы хорошо приучили себя голодать. Дошло до того, что предложили тридцать копеек с тысячи папирос. Однако ничего не поможет, – мы сдадимся!

Он выкрикнул последние слова, и торговка, сидевшая недалеко, вдруг, словно в нее выстрелили, поднялась с места и подошла к нему.

– Вы говорите о папиросниках, об этих шарлатанах, разбойниках, – сразу волнуясь, начала она. – Мой сын ведь тоже с ними, будь он проклят! Мать не смеет говорить. Вы думаете, я не пошла бы донести, если бы не боялась его. Хорошо или плохо платят на фабрике, – но платят. Разве мне хорошо? Я зарабатываю сорок копеек за целый день на улице, – кто слышит от меня жалобу? Поднять голос на этих людей. На этих высоких людей. С кем эти шарлатаны хотят бороться?

– Вы тоже вмешались, – перебил ее с досадою Хаим.

– Пусти меня, – оборвала она его и обратилась к Шлойме. – Вы старый человек, – может быть, я сумасшедшая... Почему, в самом деле, не перерезать нас всех. Простак и бунтует. Нам ведь и не за спасибо, даже не знаю, за что, позволя-

ют жить здесь, кормиться здесь, – можно ли нам бунтовать, смеем ли мы сказать громкое слово?

– Конечно, конечно, – поддержала ее с места соседка, толстая старуха: – мы должны жить и держать шапку в руках...

– Мы здесь у себя, – упрямо выговорил Нахман.

– Кто ты такой, – рассердилась женщина. – Мы? Кто мы, простак? Где у себя? Ты думаешь, что с дураю имеешь дело, если я торгую на базаре. Мы у себя, – повторила она. – У разбойников мы, – это даже грудной ребенок скажет. Ну, так нужно сидеть тихо, говорить тихо, думать тихо, чтобы никто нас не заметил. Понизили цены, – просите, шарлатаны! На коленях стойте и не вставайте, пока не выпросите. Семьи мучаются с большими и малыми детьми, и железное сердце разорвалось бы посмотреть на них. Пройдитесь по домам, – услышите плач.

Вокруг нее стали собираться женщины, и лишь теперь, при свете солнца, одетые, как нищенки, они открылись во всей ужасающей отверженности. Будто потревоженные слепые, стояли они. Чем дальше говорила первая торговка, тем теснее прижимались они друг к другу, испуганные правдой ее слов, и качали головами и двигали руками, будто женщина говорила то самое, что каждая думала про себя, и что непременно нужно было сказать. Погрязшие в своих привычках, дикие, почти безумные, оторванные от мира и чуждые новой жизни, косные, – они готовы были закричать от страха, проклясть этих молодых, непокорных ни им, ни кому из людей.

У каждой из них была своя вражда к молодежи, и теперь они предавали собственных сыновей, со всей страстью хранителей старого предания, уверенные, что поступают свято, что борются за лучшее. На их глазах менялась жизнь, ломала и коверкала вековые устои, но они, как мраморные памятники, оставались нетленными, и время было бессильно над ними. И, глядя на их серьезные враждебные лица, на ужас в глазах, страшно было подумать о насилиях, которые создали таких несокрушимых людей.

– Я говорю, – давно уже шамкал старичок, торговавший свечами вразнос, обращаясь то к Шлойме, то к женщинам, и его поддерживал керосинщик, – нужно набрать воды в рот и молчать. Когда мы сподобимся увидеть землю Израиля, то там разверзнутся наши уста, и мы вспомним обо всем.

Разговоры сразу утихли. Что-то огромное, более светлое, чем день, на миг ослепило всех. Улица кипела, – выкрикивали, торговали, клялись, и только здесь, в этой кучке, происходило великолепное и трогательное, вызывавшее на глазах слезы печали.

Слово не произносилось. Одно священное имя земли Израиля покрыло все слова и зазвучало дорогим, радостным лозунгом.

Скрылся базар с его суетой, где люди из поколения в поколение жили в ожидании грядущего исхода и, только как что-то временное, неизбежное, творили жизнь, – и в блестящем ясновидении мелькнула благословенная страна, те-

кущая млеком и медом, со своими чудными библейскими образами, опоэтизированными страстной тоскою по родине, которой они не знали, как сироты своей матери. И только Шлойма не поддавался общему настроению и каждый раз как бы порывался говорить.

– Израиль, – задумчиво выговорил Нахман, и Хаим повторил.

– Я оглядываю жизнь, – произнес вдруг Шлойма, бросая молоток к ногам, – и спрашиваю: где воля, где мощь, где сила человека? Не говорите мне «они», не говорите мне «мы». Это старые сказки для женщин и детей. Они – мы, мы – они, и это то же самое, что вода в реке или вода под землю.

Послышались вздохи. Кто-то робко запротестовал. Первая торговка всплеснула руками, бросила взгляд на небо и пошла на свое место.

– Вы скрежете зубами, – с иронией продолжал Шлойма, оглядывая толпу, – а я их изломал уже от гнева. Вы, старые, больные, израненные, колодцы забот и страданий, – к вам будет мое слово. Вот рождается человек. Ему нужно все, ему нужен весь мир. Так хотите и вы, – но не можете. У стола с тонкими блюдами, у дверей хорошего дома стоите вы и голодные, бесприютные – плачете. И вот, спрашиваю: где воля, где сила, где мощь ваша?

Он сбросил сапог с колен, с волнением поднялся и, будто трубил в рог, чтобы созвать воинов, с воодушевлением сказал:

– Оденьтесь в железные одежды, – сомкнитесь в густые ряды, – пусть забьют барабаны, – нищеты не должно быть! Нищеты не должно быть; вот ваша вера, вот ваша правота. Как диких псов на цепях, держат вас и издеваются. Нищета имя цепям. Перегрызите их. Ваши зубы остры, и вы не знаете этого, – а я говорю вам: нищеты не должно быть. Каждый из вас одинок, и по-своему думает он. Один говорит: грехи народа своего искупаем мы. Другой говорит: как овцы, покорны должны мы быть. Иной говорит: в Сионе мы будем. Но никто не говорит, – соединимся мы и скажем: нищеты не должно быть. Все знают, что в худшем рабстве живем мы, и никто не сказал: сбросим рабство. На большой, смиренной лошади сидит мальчик, правит ею и бьет и гонит ее. И лошадь слушается. Все смеются и говорят: глупая лошадь. Пусть лошадь скажет не хочу я, – и раздавит мальчика.

– Это сумасшедший, – с ненавистью в голосе крикнул кто-то из толпы.

– Прежде такого бы забили камнями, а теперь он отравляет мир своим ядовитым словом. Уйду, чтобы мои уши не слышали. А еще старый, почтенный человек. Вот почему не любят, вот почему нас бьют.

И, криво как-то толкаясь и пошатываясь, человек этот вышел из толпы, остановился на миг перед Шлоймой, злобно посмотрел на него, плюнул, и так же криво пошатываясь, двинулся по улице. И долго видно было, как он качал головой и размахивал руками. Недовольная толпа неохотно рас-

ходила и ворчала. Возле Шлоймы осталась только маленькая девочка, державшая в руках две картонки с дамскими шляпами...

Нахман и Хаим уже шли своей дорогой, и первый взволнованно говорил:

– Я дышал здесь сильнее, Хаим, но после Шлоймы у меня как будто выросли крылья. Как хорошо здесь!.. Уверяю вас, мне хотелось бы теперь бегать, кричать, прыгать. Не понимаю, что со мною.

Его охватило такое волнение, что слезы выступили на глазах. На улице опять кипело, и, словно огненные брызги, вырывались отдельные голоса из могучего хора толпы. Чудесной музыкою неслись соблазнительные речи торговцев мелким товаром, и в эту минуту ему показалось, что нет и не может быть высшего наслаждения, как любоваться своим товаром, ловко раскладывать его перед покупателем, так же ловко складывать и отдавать его за деньги чужим людям,

И чего здесь не было! Как на ярмарке, прямо на земли валялись материи, ситцы таких веселых и свежих рисунков, занавеси, ленты и платки, куклы, игрушки, всевозможные дешевые товары, – все пестрое, цветное, красивое, и, как будто ничего не стоившее, задирало прохожих, вызывало жадные взгляды, останавливало. И крепко хотелось Нахману самому очутиться среди этой толпы торговцев, вольных и свободных, и отдать их хору свой молодой голос. Хотелось разговаривать с этими женщинами, девушками, которые в стра-

сти, оглядываясь, волнуясь и тайно восхищаясь, брали в руки материи, со вздохом бросали и вновь брали, побежденные дешевизною. Хотелось разговаривать, целовать этих милых детей, таких же бедных, как и их матери, сестры, и отдать им все игрушки, все пустячные вещицы, без которых так тяжело было уйти отсюда.

– Не понимаю, Хаим, что со мною, – повторял он, а Хаим, тонко улыбаясь, отвечал:

– Подождите, Нахман, – крыльев здесь не любят, как у домашней птицы. Их обрезают...

А улица все кричала и говорила...

Покупатели торопливо и нетерпеливо, все развязнее, будто угрожая, покупали. И торговцы, испуганные угрозой, боясь не продать, тоже громко и развязно, но немедленно уступая, кричали, спорили, бегали за покупателем, сердились и проклинали вслух себя, свое занятие и, мучаясь и волнуясь, творили что-то донельзя гадкое, обидное – свою жизнь.

3

В первое воскресенье Нахман, выждав вечера, отправился к Шлойме. Когда он вошел в улицы окраины, миновав Толкучий Рынок, то сразу как бы попал в другой мир. Там, сзади, откуда он пришел, ночная жизнь города только начиналась, и люди в блеске жемчужного света от электрических солнц и ауэровских горелок, казалось, выступали, как радостные видения, как триумфаторы. С победительным звоном летели конки, и лошади отчетливо выбивали подковами по мостовым, закованным в гранит, – мчались кареты на шинах, и чудные женщины шли навстречу, и все улыбались. Высокие ряды домов, изящных, хрупких, державно протянулись своими освещенными окнами, в которых мелькали державные люди, свободные, счастливые. Все казалось великолепным, живописным, и гуляющие почтительно расступались друг перед другом, точно отдавали честь себе – виновникам этого великолепия, этой феерии.

В окраине стояла глухая темнота, и сами голоса людей на неровных грязных тротуарах и немощеных улицах казались также глухими и прибитыми. То там, то здесь, как потерявшиеся во мраке, кучками и в одиночку, с криками и непонятным весельем, играли дети. Женщины чинно вели беседу у ворот, а возле каждой девушки шел юноша.

Окраина казалась бесконечной. Из улицы в переулок, из

переулка в улицу, подобно волшебной игрушке, она как будто кончалась вдруг, но через минуту опять открывалась, и нельзя было понять, где ее границы.

Дома становились ниже, будто, чем дальше от города, тем больше врастали в землю, исчезали редкие фонари, и новые звуки лошадей, коров, уже шли из дворов. На улице стояла вонь от неубранных отбросов, от воды, гнившей в вечных лужах.

Странное чувство охватило Нахмана, когда он вошел во двор, где жил Шлойма. Одноэтажный с длинными флигелями, он раскинулся на четыре улицы, разместив в своих убогих квартирках сотни людей.

Двор был широкий, необъятный, и в нем, в темноте похожие на огромные камни, стояли повозки, биндюги, врезавшись колесами в липкую грязь, которая здесь никогда не высыхала. Из конюшен неслись фырканы лошадей, мычанье коров.

– Где здесь Шлойма живет? – обратился Нахман к мальчику, шедшему ему навстречу с ведром.

– Шлойма? – переспросил тот и остановился. – Какой? Тут их много. Есть «наш Шлойма», есть Шлойма-буц, Шлойма-халат, Шлойма-картежник...

– Мне нужен Шлойма-сапожник, – с улыбкой перебил его Нахман.

– А, «наш Шлойма». Я сейчас догадался. Идите прямо. У дверей увидите кадку с водою.

Нахман пошел вдоль левого флигеля, и теперь у каждой квартиры его спрашивали: Вы к нашему Шлойме? – Прямо, прямо. Там кадка у дверей. Но его, кажется, дома нет.

Когда Нахман добрался до кадки, он уже был весь в грязи. Из второй комнатки шел свет в раскрытую дверь. Нахман тихо вошел. В низенькой комнатке, с одним оконцем на улице, сидели три женщины.

Две громко разговаривали, а третья слушала, мечтательно опершись головою о стену. При виде мужчины молчавшая вдруг вскрикнула и закрыла лицо руками.

– Кто там? – с беспокойством спросила вторая женщина, поднимаясь.

– Отчего вы испугались? – удивился Нахман.

– Вы к нашему Шлойме, – догадалась она. – Садитесь, он сейчас должен прийти.

Она подошла к той, которая сидела, закрыв руками лицо, и стала с ней шептаться, каждый раз указывая на Нахмана. И когда та улыбнулась, то громко сказала:

– Вы видите, как скоро я ее успокоила. Я умею с нею разговаривать... Вот Неси не умеет.

Нахман посмотрел на девушку, сидевшую в стороне у стены, и вспыхнул. Ей могло быть не более семнадцати лет, но что-то задорное, дерзкое, удивительно приятное светилось в каждом ее взгляде, в каждом жесте.

– Я не хочу уметь, – упрямо произнесла она, – пусть это делают другие.

– Почему же она испугалась? – недоумевал Нахман, оглядываясь на поразившую его девушку и сердясь на себя.

Неси, почувствовав, что нравится, нарочно отвернулась, а вторая, черноглазая, подхватила:

– Лея боится новых людей, – она испуганная.

– Вот как, – произнес Нахман, небрежно оборачиваясь к Неси, – кто же ее испугал?

– Ну, вот и этот спрашивает, – с досадою выговорила Неси и надулась.

– Отчего же не спросить, – перебила ее черноглазая. – Я бы тоже спросила. Видите ли, Лея вышла замуж по любви, а через год ее муж умер на улице от черной болезни. И тогда это у нее началось. Как наш Шлойма перенес ее горе, – спросите у соседей. Он как будто еще вырос в наших глазах.

– Это его дочь? – заинтересовался Нахман.

– Разве вы не догадались? После смерти мужа у Леи осталась девочка...

– Хотела бы быть ею, – меланхолически произнесла Лея, вмешавшись.

– Слышите, – она хотела бы быть всеми – только не собой... Когда ее девочка, добренькая, тихонькая, подросла, Лея стала уходить работать на фабрику. И Шлойма уходил, а девочку оставляли у соседки.

Она помолчала.

– Девочку убил пятилетний мальчик соседки.

– Какие ужасы, – пробормотал Нахман побледнев. На-

строение его изменилось.

– Эге, – выговорила она, не то со смехом не то с плачем, – не пугайтесь так. Тут бывают и похуже несчастья. Вот в прошлом году свинья загрызла девятимесячного ребенка, спавшего в комнате в корыте... Где была мать? Она работала.

Она еще раз не то всхлипнула, не то засмеялась и вдруг деловито спросила:

– У вас дело к Шлойме?

– Хотела бы быть делом, – заупрямилась Лея.

– Да, дело, – разочарованно ответил Нахман.

– Чем вы занимаетесь? Работаете на фабрике.

– Нет, нет. Я служил у хозяина, собрал немного денег, а теперь ищу компаньона торговать в рядах.

– Ага, – сочувственно загорелась черноглазая, – и у вас уже началось. Все хотят свободы в жизни. На что уже тут худо нам, но и мы мечтаем.

– Мечтаете, – так же сочувственно произнес Нахман, стараясь не глядеть на Неси, которая повернулась к нему лицом.

– Теперь я вижу, что вы не здешний. Мы играем – вот наша надежда. Если не билет – кто же за нас? Пройдитесь по окраине, и в каждой квартире вы найдете билет лейпцигской лотереи. Мы разоряемся, – но у нас есть надежда.

Нахман жадно слушал ее, затаив дыхание. В соседней комнате слышались грузные шаги. Черноглазая насторожилась.

– Это мой муж, – проговорила она вдруг упавшим голо-

сом. – Он кажется, пьян. Опять, значит, не заработал.

Она выбежала стрелой, не простившись, и сейчас же слышалась грубая ругань и ее молящий шепот.

– Вот жизнь, – уныло произнес Нахман.

– Терпеть не могу этих людей! – отозвалась Неси. – Все хороши. Пьяницы, грубые, жадные... Иногда сижу и думаю: как же я такой стану? Буду мечтать о гроше, муж у меня больной, замученный, может быть, пьяница, вот с такой бородой, и от него будет пахнуть, как от помойной ямы.

– Вы правы, – проговорил Нахман, радуясь ее голосу и дерзким словам.

– Этого не будет... – упрямо отчеканила она вдруг. – Я поклялась.

В комнату вошла новая девушка, некрасивая, в веснушках, с испуганными глазами.

Вся она была желтенькая какая-то, – носила желтое платье, желтую ленточку в волосах, желтые башмаки, и от нее веяло скукой, недоумением человека, который не понимает, как случилось, что и он существует. При виде постороннего, она, как вкопанная, остановилась на пороге и поманила Неси пальцем.

– Вот ты все сидишь, – шептала она, – а Абрам на улице ждет тебя и чуть не плачет. Зачем мучить человека?

Она произнесла это с жаром и прибавила с мольбой:

– Выйди, выйди, прошу тебя!

– Зачем я пойду? – громко говорила Неси, и Нахману ка-

залось, что она к нему обращается. – Я не люблю маляров. Пойди сама с ним, – ведь он тебе нравится.

Она внимательно оглядела ее и жестким голосом проговорила:

– Может быть, он в тебя влюбится.

– Вот ты смеешься, – побледнев, ответила некрасивая, – я же скажу: если бы он мог. Я бы, Неси, ради него дом понесла на плечах. Я умираю от любви к нему, и хотя он видит, но не может... Вот и ленточки стала для него носить, вот башмаки, в зеркало гляжусь, – а он не может. Я не злая, Неси, выйди к нему.

– Не пойду, – рассердилась Неси, – ненавижу бедных. Я бы, кажется, зарезалась, если бы влюбилась в рабочего.

– Отчего ты с ним ходила? – с упреком произнесла некрасивая, увлекая Неси в первую комнату.

– Я не виновата, что нравлюсь, – слышался голос Неси.

Они начали шептаться и сейчас же вышли. Нахман, оставшись один, с жутким чувством посмотрел на Лею. Она сидела как раз против него, видимо, любовалась им и улыбалась. И, будто в зеркале, он видел, как она повторяла все его движения. Время томительно подвигалось.

– Меня ли она видит? – спрашивал себя Нахман, со странным чувством, почти побежденный ею.

Ее взгляд скользил, как луч, нежно, мягко, касался его лба, лица, и когда останавливался у глаз, то вонзался в них.

– Уже поздно, – тихо проговорил Нахман, с усилием по-

вернув голову к окну, – какая темная ночь.

– Хотела бы быть ночью, – таинственно произнесла Лея.

– Какая странная жизнь здесь, – растерянно подумал он.

Новая сила шла на него отовсюду – от низенькой комнаты, от двора, по которому он проходил, от всех улиц, сдавивших этот двор. Там, где он служил, он видел несчастных людей, замученных трудом, заботами, но все же было что-то привязывавшее к жизни, гнавшее жить. Здесь – он точно в трясиину попал. Живая жизнь казалась мутным потоком, и люди, как отбросы, валялись на поверхности, летели куда-то в безумном стремлении, и никто не знал куда.

– Вы любите детей? – раздался вдруг голос Леи.

Она уже глядела куда-то в сторону, глядела упрямо, точно там, в стороне, стояло и манило – то, одной ей известное, дорогое.

– Я люблю, – ответил Нахман, не узнавая своего голоса.

– У меня была чудесная девочка, золотистая, ласковая и мягкая, как моя грудь. Сияние было на ее лице. Каждый волосок у нее был выткан из золота и пахнул. И когда я приходила с работы, она узнавала меня, тянулась ручками и смеялась. И нищета взяла у меня мою золотистую девочку, – нахмурилась она. – Они говорят все: ее ребенок убил. Но я знаю, что это неправда. Нищета оделась ребенком и убила мою золотистую девочку. Она прокралась к самому слабому месту моему, – слабее, чем мое сердце... Она дала мне немного наддышаться ею – а потом убила мою золотистую де-

вочку. Она держала меня в голоде и нарочно сделала бессильной, чтобы убить мою золотистую девочку. Как орел загоняет голубку от гнезда, она угнала меня далеко на работу, чтобы убить мою золотистую девочку.

Она говорила и тихим причитанием, печальным, певучим, заканчивала каждую фразу. Нахман слушал, и сердце его дрожало от жалости.

Каким ничтожным казалось ему отчаяние, которое он испытывал в последние месяцы, после отъезда Натана...

Сидела полубезумная женщина и пела великую песнь о грозной силе нищеты в народе... Как горы, ложилась эта песнь на душу.

– Ну, вот и я, – произнесла Неси, вдруг появившись на пороге, и будто сноп света шел вместе с нею.

– Слава Богу, – с радостным облегчением подумал Нахман.

– Я не виновата, что нравлюсь, – продолжала она невинным голосом, – и ни для кого не оболью своего липа кислотой. Здесь, Шлойма, человек ждет вас, – сказала она в темноту, где кто-то возился.

– Сейчас зайду, – раздался его голос, – только ящик поставлю.

Нахман не отрывался от взволнованного лица девушки. Теперь что-то дикое, сильное было в ее движениях, когда она иногда оборачивалась к Нахману и бросала на него быстрые взгляды.

– Я сейчас пойду домой, – громко говорила она, как бы рассказывая Лее, – и подожду, пока все уснут. Потом выйду за ворота и буду смотреть в улицу, которая ведет в город...

– Хотела бы быть им, – прошептала Лея...

– В город, – продолжала Неси, и это походило теперь на сказку, – где так светло ночью, что кажется, он горит. И никто меня не увидит. Я буду смотреть на огни и мечтать о жизни...

– Ну, вот и я, – произнес Шлойма, входя и обращаясь к Нахману. – Кажется, я тебя где-то видел.

– Да, в рядах, я был там с Хаимом.

– Так, ты был с Хаимом, теперь я вспомнил. Человек нашелся, правда, не очень богатый, – но это то, что тебе нужно. Садись, мы еще поговорим.

Он подошел к Лее, погладил ее по голове и нежно сказал:

– Ты бы легла. Уже поздно.

– Я лягу, отец, – покорно ответила она. – Но я никому не мешаю.

– Пусть она посидит, – вмешалась Неси, – она и так лежит весь день.

Шлойма вышел в первую комнату, захватив с собой лампочку, и через минуту вернулся с закрытой чашкой, поверх которой лежал хлеб.

– Я поужинаю, – произнес он, – а вы разговаривайте. Я ведь с утра еще не ел.

Наступила тишина. Старик не спеша ел. Лея, не раздева-

ьясь, начала укладываться, и Неси помогала ей.

– Ну, я пойду уже, – со вздохом произнесла она, когда Лея закрыла глаза, – хочешь, не хочешь, а домой вернуться нужно. Достанется мне от отца. Спокойной ночи!

Она на миг остановилась против Нахмана, пронзительно взглянула на него, перешла комнату и исчезла в темноте.

– Славная девушка, – задумчиво проговорил Нахман.

– Дорогая, – отозвался Шлойма, отодвигая чашку от себя, – но тем хуже для нее.

– Почему же? – удивился Нахман и покраснел.

– Дорогие – легче пропадают. Вот Неси уже на пути... Сама она еще здесь, она ходит между нами, разговаривает, но душой уже там, где ее гибель. Как дерево, брошенное в воду, идет на поверхность, так и она уходит от нас. Это – рок.

– Может быть, она еще раздумает, – с сомнением произнес Нахман.

– Жизнь сильнее дум, – холодно возразил Шлойма. – Ты видел, сколько домов в нашей улице?

– Каких домов? – удивился Нахман.

– Таких – с красными фонарями, с освещенными окнами, с музыкой. Они за нее думают. Знаешь, сколько наших девушек в домах? Половина. Где город набирает девушек для улиц? У нас, только у нас. Ты со мною не спорь. Я прожил шестьдесят лет и знаю, что такое нищета.

Он задумался и так сидел долго. Лея спала. Нахман испуганно смотрел на старика, и какая-то внутренняя торопли-

вость, от которой захватывало дыхание, трясла его. Минутами ему хотелось встать и крикнуть:

– Чего вы меня держите? Поговорите со мной о моем деле и отпустите меня.

– Оставим их, – произнес Шлойма, выходя из задумчивости. – Поговорим о тебе. Ты бросил службу...

– Сказать вам, – заволновался Нахман, точно ждал только первого слова, – я почти жалею, что пришел сюда. Я столько слышался в эти два часа... Вот вы сказали: нищеты не должно быть. Теперь спрашиваю, как сделать? Я был простым чернорабочим, – правда, я учился в детстве, – но все же был чернорабочим. Жизнь так велела. Потом сделалось так, что я пошел служить, – но и там не выдержал. Я говорил себе: нужно служить, жизнь везде одна и та же, не помогало. Все-таки меня окружали люди, которые мучились. Я говорил себе: думай о службе, о службе, но вместо этого думал о людях, и они меня пугали, как если бы лежали зарезанными в моей комнате. И я ушел...

Он говорил с жаром, потрясенный тяготой, которую нашел здесь. Вся жизнь за эти три года службы вставала теперь словно живая. Как лишний груз, тянувший к земле его надежды, он выбрасывал из себя картины прозябания на большом дворе, с бессильными и искалеченными людьми – работниками, и украшал эти образы своими мечтами о свободной жизни. Он рисовал ее прекрасной, светлой, с здоровыми юношами, с здоровыми стариками, работавшими в меру. И

сладок и вкусен был каждый кусок хлеба. Он видел ее свободной, без гнета и помыкания, и она вытекала от жажды сил, вырвавшихся на волю, – а дальше все выходило светлым, прекрасным... Шлойма слушал, и в глазах его горел огонь. Точно толпа стояла перед ним и ждала его слова. Менялся ритм его дыхания. Радостные предчувствия овладевали им, охватывали и заливали его сознание. Образы ясные, образы выпуклые, осязаемые и ощутимые уже стояли в душе, готовые вырваться.

– Выйдем отсюда, Нахман, – взволнованно произнес он, – здесь правда слепнет. Ты увидишь.

Он взял его за руку, и оба вышли. Старик шел быстро и лихорадочно.

– Ты увидишь, – бормотал он, – ты увидишь. Вот царство нищеты.

Во дворе было тихо. Угрюмые и одноэтажные флигеля, придавившие подвальные помещения, протянулись по всем сторонам. Подобные исполинским червям, черные и отвратительные, они заползали в соседние дома, напряживаясь буграми и извиваясь, и соединялись с такими же флигелями, змеобразными, отвратительными. В квартирах-лачугах тушили огни, и большой, пустынный двор постепенно пропадавал в темноте. В конюшнях фыркали лошади. И казалось, теперь страстная тоска бродила по двору, брела из квартиры в квартиру; казалось, что-то живое, дух печали, дух сострадания стоял в каждом уголке и рыдал. Огромное небо, ши-

рокое, круглое, чистое, поднялось безумно высоко, и оттого, что оно было так далеко, что было такое необъятное широкое, чистое, – здесь, внизу, среди опустошенной жизни, тоска становилась еще страстней, будто погибали все надежды.

– Здесь царство нищеты, – раздался голос Шлоймы, – смотри!

Он описал широким жестом круг в воздухе и пошел вдоль левого флигеля, останавливаясь у каждой лачуги.

– Вот квартира первая, – тихо сказал он, – квартира Бейлы. Торговка. Две дочери работают на фабрике. По вечерам выходят на улицу. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира вторая. Три старухи-калеки. Живут подаяннем. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира третья. Квартира Арона Биндюжника. Большая семья. Голодают. Квартира четвертая. Слепой Мотель. Дочь в «доме». Голодают. Квартира пятая. Столяр – большая семья – голодают. Шестая. Маляр – семья голодает. Седьмая. Сапожник – семья голодает. Восьмая. Разносчик. Дочери продаются. Две уже в «домах». Голодает. Квартира девятая. Воры. Квартира десятая. Шулерский притон. Одиннадцатая...

– Довольно, довольно, – пробормотал Нахман.

– ...Пять девушек. Сироты. Продаются. Голодают. Двенадцатая. Модистка Фрима. Чахоточная. Семья. Голодают...

Он выговаривал сухо и отчетливо, и было похоже, будто стучали костями. Слова соединялись, и строилось здание самого большого несчастья, которое могло постигнуть людей.

Нищета, голод... Они бродили здесь на каждом шагу, проклятые, ненавидимые человеком, но сильные; они с жестокостью вечного победителя беспощадно обрушивались на него, захватывая новые и новые поколения, от которых он не мог отказаться. Нахман был подавлен.

Ему хорошо знакомы были нищета и голод, в которых он вырос, но никогда еще столь цельная, ужасом одухотворенная картина общего несчастья не становилась у него перед глазами. И испуганный, измученный, он снова бросил вопль мольбы, страха:

– Довольно, Шлойма, довольно. Я умоляю...

Они стояли у ворот, собираясь перейти к другому флигелю.

– Хорошо, – сказал Шлойма, углубленный в свои мысли, – выйдем отсюда. Но и там не лучше.

Улица терялась вдали. С правой стороны город горел своими жемчужными огнями, а с левой – темная окраина открывалась, точно опрокинутая. Оба пошли вдоль тротуара задумчивые, потрясенные. На углу Шлойма остановился. Послышались звуки фортепьяно, и песни были лихие, будто кричали развязными словами.

– Вот куда идут наши девушки! – произнес Шлойма с горячей ненавистью, поднимая руки и указывая: – Смотри!

Нахман оглянулся. Во все стороны, точно испуганные, побежали низенькие, старые дома, прижавшись друг к другу, как в жесте мольбы. Подобно худым колосьям в неурожай,

не отягченным зерном, они поднимались вялые и чахлые и громко кричали о беде. Казалось, несчастье, могучее и мстительное, пробежало в этой стороне и разрушило высокие, просторные дворцы и сильных счастливых людей, которые здесь были.

– И я говорю, – раздался вдруг взволнованный голос Шлоймы, – оденьтесь в железные одежды, сомкнитесь в густые ряды, пусть забьют барабаны – нищеты не должно быть!

Громовая музыка, топот лошадей, лязг железа зазвучали в его ушах. Толпы людей строились в могучие ряды, – то были люди с окраины. Худые, оборванные, с радостными лицами – он видел их – они шли за своим, они шли... И барабаны били, раздавались голоса, ясные, звучные...

– Пойдем, пойдем, – упорствовал Нахман, – я верю вам.

– В железе – сила, – сказал Шлойма, – но она есть и в соломинке. Силен тот, кто верит в соломинку, ибо он верит в самого себя. Соберите свою веру, обменяйтесь друг с другом, и она соединит вас лучше, чем кровь – братьев. Пойте песню: сила в нас, и вы, что жалуетесь на свою слабость, на свои болезни, – я утешу вас всех. Споем песнь о единении, – и вы утешитесь. Вы, что с мукой трудитесь, и вы, что голодаете и дрожите, споем песнь о людях, – и вы утешитесь. Вы, что не верите в будущее, и вы, что бежите в тюрьмы, вы, что отдадитесь разврату, слабые и сильные юноши и девушки, стройным голосом споем песнь о единении, – и вы утешитесь. И первым словом этой песни пусть будет: нищеты не должно

быть.

Точно слепой, потрясенный внутренним видением, мощным образом этой необъятной толпы, он произносил свои слова со странным припевом, – и Нахман, слушая, чувствовал, как что-то поднимает его над землей, и от этого он испытывал радостное облегчение. И, будто молнии правили его жестами, ему хотелось броситься куда-то в бездну, петь и греметь, чтобы осязать, вдыхать дивный идеал слияния с людьми.

Шлойма медленно повернул назад. Опять потянулась жалкая улица с домами, теперь еще более жалкими, и в открытые ворота их пугливо смотрели пустыри больших дворов. Оба молчали, не зная, что сказать друг другу.

Тень, стоявшая у ворот дома, где жил Шлойма, внезапно пропала, когда они подошли. Нахман похолодел и, стараясь не выдать своею внимания и волнения, тихо произнес:

– У меня, Шлойма, не выходит из головы судьба Неси. Наверное ли она пропадет?

– Как эта ночь, – устало ответил Шлойма, входя в свою квартиру. – Теперь, Нахман, – прибавил он, – нужно было бы поговорить о твоём деле. Но, кажется, уже поздно. Иди спокойно домой. Этого человека я пришлю к тебе. Ты не боишься ходить по нашим улицам?

– Нет, отчего же, – улыбаясь, ответил Нахман. – У меня крепкие руки...

– Так, спокойной ночи! Я очень рад. Сказать правду, ты

мне и в первый раз понравился. Что-то хорошее есть в тебе, и мне кое-кого напоминает. Я был недурным парнем в молодости. Спокойной ночи!

– Прощайте, – серьезно ответил Нахман, и долго стоял у дверей, в которых скрылся Шлойма.

– Ну, что же, – задумчиво произнес он, – нужно идти. Славный старик.

Когда он подошел к воротам, ему опять показалось, что промелькнула тень. Он остановился, страшно внимательный, умоляя кого-то добрыми словами, чтобы он не ошибся.

– Это вы, Нахман? – раздался вдруг тихий, знакомый голос; и этот голос показался ему теперь столь нужным, что он готов был закричать от счастья.

Она стояла у ворот и, как прикованная, не двигалась. Он подошел к ней ближе, и все, что было у него тяжелого в душе, стало отлетать и, как ненужное, сгнуло.

– Я знал, что вы будете ждать меня, – хотелось ему сказать, но вместо этого он с деланным равнодушием произнес:

– Да, я, Неси, – вам нужно что-нибудь?

– Вы видите город, Нахман?

– Я вижу, – вдруг разочарованный, ответил он.

– Он горит, как солнце. Посмотрите на огни. Мне кажется, там пляшут.

– В городе еще не спят, – равнодушно поддержал он.

– Там пляшут, – уверенно вытворила Неси, повернувшись лицом к городу, – и мне хочется плакать от злости, что я

родилась здесь, а не там.

– Где там? – удивился Нахман, оглядывая ее.

– В городе, в городе.

Они замолчали и долго смотрели на прыгавший, переливавшийся вдали свет.

– Каждую ночь, – вдруг произнесла Неси, – я стою здесь и стерегу огни. И с каждым днем я чувствую, как руки мои становятся длиннее. Я скоро достану их.

– О чем вы говорите? – заволновался Нахман.

– Спокойной ночи, – холодно ответила Неси.

Он с состраданием взглянул на нее, и теперь она с своими застывшими глазами, как после слез большими, на миг показалась ему самой судьбой этой окраины.

– Спокойной ночи, Неси, – печально ответил он.

Он пошел от нее не оглядываясь, и мрачные, безутешные мысли победительно овладели им. Окраина как будто близко подошла к нему, – и он понял ее душу. Точно одно слово горело над каждым домом, и это слово было мольба о пощаде, о помощи. Они уже не лезли назойливо в глаза своей неопрятностью, своими безмолвными пустырями, своими ничтожными строениями, а все вместе, точно сговорились, твердили одно: милосердия, милосердия. И Нахман, охваченный своим волнением, с злым негодованием смотрел на пляшущие впереди его огни веселого города.

– В этом городе, – вспомнились ему слова Натана, – есть столько богатств, что мне становится стыдно за людей, кото-

рые ничего не придумали против страданий.

Дома стали вырастать. Они выползали на глазах из земли, двухэтажные, трехэтажные, и ворота их были наглухо закрыты. Задрезбуждали дрожки по неровным мостовым. Чувствовалась близость города и культуры... Огни пропали, скрывшись за высокими зданиями. Нахман продвигался среди наступающей тьмы. Прямо напротив, упираясь в небо, выплыла четырехугольная башня городских часов, а из прилегавших улиц уже несся шум от движения базарных торговцев. Сзади, торопя лошадей, кричали зеленщики.

Бледнела ночь.

– Как нужно жить? – спрашивал себя Нахман, не будучи в силах оторваться от своих дум. – Как, как?

Городские часы пробили три раза. Он ускорил шаги. Рынки просыпались.

4

Собственность! Какая могучая власть лежит в этом слове. Вооруженная всеми злыми силами, корыстью, жадностью, завистью, ложью, неправдой, в одной маске победительницы жизни, – она умеет привлечь и покорить человека. Она прокрадывается и овладевает душой незаметно. Она лепечет первыми милыми словами о счастье и свободе и умоляет предаться ей. Она обещает власть, парение. Она не кричит, не требует человека, и побеждает без насмешки, серьезная, упорная, – не давая ни одной минуты чувствовать тисков, из которых не выпустить. Неотразимая, – она единая царица мира.

Прошло две недели после посещения Нахманом Шлоймы, – и теперь он уже стоял в ряду с компаньоном Даниэлем подле двух корзин с товаром и громким голосом подзывал покупателей. Новая, полная особенного интереса, жизнь началась для него. На рассвете приходил Даниэль, высокий, больной человек с фигурой цапли, и оба, подхватив большую корзину с товаром, отправлялись в путь. Темные, пустые улицы окраины оживали в его воображении, и все некрасивое, мрачное в них пропадало в блеске его радости. Теперь он не чувствовал себя под гнетом, рабом чужой воли. Шел хозяин с товаром, который будет продан, вновь куплен, вновь продан... Шел хозяин за деньгами, которые дадут еще

большую свободу, еще большую уверенность. И вся утренняя суতোлка казалась радостным усилием к счастью, стоявшему вблизи, на шаг от каждого. Он шел упоенный и, как безумец, не видел муки в этой суতোлке, не чувствовал трепетания чужой души.

Волшебно-прекрасным начиналось утро раннего лета, со сменой цветных теней, от желтого на флюгере городских часов до черного у стен на земле. Один лишь голос торговца, кряхтевшего над своей корзиной, приводил в движение базарную жизнь. Как токи пробегали люди по всем направлениям, куда-то уходили, возвращались, вновь уходили, — и это было чудесно и красиво, как во сне. То там, то здесь разносились бойкие голоса торговков, лавочники раскрывали тяжелые двери, на тротуарах возились мелкие торговцы, тащились телеги с зеленью, с рыбой, с молоком, и Нахман, упившись окружающим, принимался с Даниэлем за работу. Он раскладывал свой товар и, оглядывая его, испытывал чувство ребенка, которому дали блестящую игрушку. Ласково смотрели на него ситцы, хорошенькие, пестренькие, дешевенькие, и ему казалось, что лучших не было во всем ряду. Ласково смотрели на него кошельки, куклы, галстуки, чулки, и он не уставал их перекладывать, чтобы сделать заметнее, красивее. Когда начиналось движение покупателей, он здоровым, звонким голосом выкрикивал товары и привлекал толпу своим открытым лицом и крепкой фигурой.

В это июльское утро Нахман с Даниэлем пришли в ряды

позже обыкновенного. Они разложили товары, и Даниэль, оглядев мрачное лицо Нахмана, недовольно сказал:

– Вы хорошо начинаете день, товарищ. Может быть, вы думаете развеселить покупателей своим лицом и сомневаетесь, – я скажу: палками их лучше не отгонишь. Не огорчайтесь же этой историей, послушайте-ка этого молодца о гребешках. Я должен его перекричать.

Он немедленно раскрыл рот и, будто кто-то вонзил ему нож в бок, завопил:

– Ситец, ситец, кто хочет лучшего ситца, лучшей российской фабрики!

И помедлив, отрывисто выпалил:

– Семь копеек, семь, семь, семь! Подходите, девушки, барышни, хорошенькие дамочки. Кто не слышит? Семь, семь, семь!

– Что вы скажете на меня? – добродушно обратился он к Нахману. – Разве не сказали бы, что я перед уходом съел вкусного теленочка. Засмейтесь, и вам станет весело. Что покупаете, миленькая? Ситец?

Он упал на колени, засуетился возле товара, и будто показывал самый лучший, расшитый золотом шелк, – развернул несколько штук.

– Самый лучший ситец, российской фабрики, – сыпал он, – и если бы у меня была такая красавица-невеста, как вы, я покупал бы ей ситец только у себя. Посмотрите, шелк – не ситец, подавись я первым бриллиантом, который у меня бу-

дет. У меня, как я армянин, выступают слезы на глазах, когда я вижу такой товар. Не нравится? Этот ситец не нравится? Я готов вас поцеловать, если вы найдете лучший.

Девушка рассмеялась, а он продолжал сыпать шутками, прибаутками...

Нахман, словно чужой, стоял в стороне и грустным взглядом смотрел на кипевшую улицу.

– Да что это с вами, Нахман? – произнес Даниэль, отпустив покупательницу. – Сегодня ведь пятница, дай Бог так врать всю жизнь. Она отравилась... Но вы сумасшедший, как я немец. Она отравилась, бедная хромушка... Один раз, два раза, три раза на здоровье ей. Вы знаете, товарищ, как нужно жить? Умер – похоронили...

– Но мне ее жаль, – мрачно выговорил Нахман.

– Кому не жаль, – в тон ответил Даниэль, – но ведь хро-мая с ума сошла, выдумав обвиняться с шапочником. Старуха Сима права, но дочери нужно было совесть иметь. По правде, один палец этого молодца стоит всей девушки, с ее хромой ногою. Вы пес с ушами, если это вас трогает.

Нахман отвернулся и, насвистывая, стал оглядывать ряд. Мужчины и женщины, все будто сбились в одну кучу, и отсюда казалось, что они ловят людей, душат их, а те откупаются.

Крик стоял веселый, стройный, и чувствовалось, не было такой силы, которая прекратила бы ликование торговли. Все в ряду знали, что отравилась хромая беременная девушка,

брошенная своим возлюбленным, – все были знакомы с ней, знали ее несчастную жизнь, но никто не отдал ей и частицы своей души.

Покупатели подходили. Одни осматривали товары, как бы спрашивая себя, что купить; другие брали вещи в руки, клали назад, уходили, возвращались. Какая-то женщина выбрала пару чулок и заплатила, не торгуясь. Нахман оживился. Теперь он выкрикивал цены, подзывал, ловил покупателя. Пыль носилась в воздухе, оседала во рту и мешала говорить.

Когда кто-нибудь переворачивал все, что было в корзине, и равнодушно уходил, ничего не купив, Нахман испытывал желание броситься вдогонку за этим человеком, изругать его, побить... Толпа шла, точно слепая, напирая со всех сторон, десятки рук сразу опускались в корзины, и самое трудное было уследить, чтобы ничего не пропало. Нахман кричал, ссорился, вырывал товар из рук покупателя, и волнение было такое, что никто ничего не понимал... Где-то уже неслись крики торговли, у которой толпа опрокинула корзину.

– Хороший день, чтобы их солнце сожгло, – огрызнулся Даниэль, – кажется, у меня раскрали четверть товара.

Он кричал отчаянным голосом, густым, металлическим, и глаза у него были налиты кровью. Он вступал в спор, ругался неожиданными забавными словами, и они больше нравились, чем сердили...

Весь ряд стонал от звуков. Торговцы, возбужденные шумом, будто испуганные или увлеченные музыкой своих голо-

сов, корчились в отчетливых движениях, умоляли, проклинали, звали, а толпа, наэлектризованная собственной массой, покупала все, словно обезумела от крика, цветов, форм, дешевизны.

Часам к десяти суета стала уменьшаться, и начался отлив.

Нахман, стоя на коленях, приводил товар в порядок и сердито говорил:

– Смотрите, что они сделали, – а я и двух рублей не выручил.

– Славный хлеб, – угрюмо подхватил Даниэль, не глядя на Нахмана, – от них Ротшильдом не сделаешься.

Торговцы уже подходили друг к другу, чтобы поболтать, узнать, как кто торговал, и, глядя на них, можно было думать, что беседуют кровные друзья...

– Через полтора часа пойдем в трактир, – произнес коренастый торговец, весь в бородавках, утирая пот с лица. – Эти полтора часа ежедневно отнимают у меня год жизни. Что вы сказали бы теперь, Мелех, о стакане горячего чая, но горячего, – обратился он к торговцу-старика. – Ого, вот идет старенькая Двойра. Почему она плачет?

Кучка торговцев подошла к старушке, и та, не переставая плакать, рассказала, что базарный опрокинул ее корзину с лимонами и прогнал с места.

– Дети, – произнес коренастый торговец, – соберем по грошу десять копеек и заплатим за место Двойры. Я даю копейку.

Нахман вынул из кармана три копейки и отдал старухе. Кто-то тронул его за плечо. Он живо обернулся и увидел перед собой Мейту, пятнадцатилетнюю девочку хозяйки, у которой поселился.

– Это вы, Мейта, – заволновался он, – что слышно с Итой?

– Ее спасли, – ответила девочка. – Только что пришла Сима из больницы, и я побежала вам рассказать.

И, чувствуя важность своих слов, она серьезно прибавила:

– Иту отвезли в родильный приют. У нее начались роды.

– Слава Богу, – произнес Нахман с облегчением. – Что вам дать за такую добрую весть?

Он повел ее к своей корзине, не отрываясь от стройной, отчетливой фигуры девочки. Она шла медленно, и здесь, среди опустившихся, неряшливых людей, вызывала воспоминание о другой жизни, беззаботной, красивой, жизни желанной, оправданной, к которой столь трудными и мучительными путями пробирается человечество, инстинктивно уверенное, что добьется ее. Она шла медленно, грациозно, как будто впереди стояла пропасть или что-то прекрасное, о котором она едва смела мечтать. И суровая улица – словно дивилась чудесному видению – провожала ее всеми своими глазами, всеми своими шепотами, завидуя ее беззаботности, ее нетронутой красоте – тому, что жизнь еще не имела власти над ней.

Прошло больше месяца, как Нахман поселился у ее матери, и с первого дня девочка тайно покорила ему. С каждым

разом она все сильнее привязывалась к Нахману, и теперь шла с трепетом, в первый раз почувствовав, что может нравиться. Она не поднимала глаз, будто взгляд Нахмана угрожал ей сжечь их, и мечтала только о том, чтобы не показаться ему смешной, глупенькой.

– Ну вот, Мейта, моя корзина, – говорил Нахман. – Что мне вам подарить?

– Ничего не дарите, – покраснев, ответила она. – Я ведь пришла потому, что вы беспокоились.

– Все-таки вы меня обрадовали, Мейта. Я подарю вам пару гребешков для волос. Я выбираю лучшие, Мейта. Посмотрите, какие они красивые, гибкие. Они вам будут к лицу.

Она засмеялась оттого, что он упомянул о ее лице, и серьезно сказала:

– Я не могу взять, Нахман! Это стоит денег.

– Это и хорошо, – в тон ответил он ей, – я дарю то, что имеет цену.

Она обрадовалась его голосу, но когда выбирала гребешки, и ее руки касались его руки, – они дрожали.

– Вот эта пара будет очень удачной, – произнес Нахман, вдруг удивившись ее волнению, – возьмите, Мейта, вы останетесь довольны. – Не может быть, – промелькнуло у него в голове.

Она спрятала гребешки, все не поднимая глаз, и, словно бросая слова на землю, поблагодарила его и простилась.

– Подождите, – торопливо выговорил Нахман, – я прово-

жу вас. Вот только скажу два слова Даниэлю.

Она махнула головой, и сейчас же ее узкие плечики замелькали в толпе.

– Подождите! – крикнул он еще раз.

– Почему же у нее руки дрожали? – думал он, стоя перед Даниэлем.

И, глядя ему прямо в глаза, он внутренне смеялся и отвечал невпопад, как будто насмехался. Потом, освободившись, бросился в толпу.

– Вот она, – обрадовался он, увидев девушку, заглядывавшую в окна лавок, – я испугаю ее.

Все довольный, все в сладостном томлении, он тихо подкрался к ней и ласково крикнул ей в ухо. Мейта испуганно обернулась, но, узнав Нахмана, улыбнулась ему и проговорила дрожащим голосом:

– Я так испугалась, Нахман.

Они пошли рядом, не думая о своем волнении, и Мейта беззаботно расспрашивала обо всем, что попадалось ей на глаза. Сейчас направо открылась длинная, широкая улица, и, освещенная солнцем, как бы плавающая в жидком мраморе, с чистыми людьми и домами и приятным движением, она, после бедноты и грязи рядов, показалась такой прекрасной, что Мейта, закрыв глаза, в восторге крикнула:

– Как хорошо здесь, Нахман! Мне кажется, что в этой улице живут одни избранные.

– Вы разве не бывали в городе, Мейта?

– Очень редко, Нахман. Когда мне исполнится шестнадцать лет, мать меня отметит работать на фабрике; я буду ходить сюда каждый день.

– Я могу показать вам город. Вот разбогатею...

– Разбогатеете, – перебила его Мейта и с сомнением покачала головой, – не разбогатеете. Иногда мне кажется, люди выдумали богатство, чтобы заставить нас мучиться...

– Вы много думаете, Мейта, – с удивлением произнес Нахман.

– Мы все думаем, уверяю вас. Но нас не спрашивают, и мы молчим.

Они повернули в сторону и сразу очутились на окраине.

– Вот, я вам новость расскажу, – произнесла таинственно Мейта после молчания. – Абрам, кажется, женится на Розе.

– Кто вам сказал? – с изумлением вырвалось у Нахмана, – он весь похолодел от радости. – Неси будет удивлена.

– Сама Неси мне рассказала об этом. Она непонятная. Она плакала и смеялась.

– Я ухожу, – взволнованно проговорил Нахман. – Так это правда? Вы сказали, Неси...

В ряду, между тем, работа опять закипела, и когда Нахман вернулся, вся улица была полна народом. В пятницу торговля прекращалась в два часа дня, и теперь волнение обхватило самых хладнокровных. Нищие, как порченые, бегали между людьми, мешали всем и их гнали, как гонят собаку, попавшую под ноги. Торговки кричали длинными голосами,

словно не переводили дыхания, и складывали остатки в корзины, чтобы не засидеться лишнюю минуту. Нахман стоял уже подле Даниэля и бойко торговал. Как мог он не торговать, когда у него было столько великолепного товара? И уверенный, с приподнятым настроением, он, без гнева, позволял покупателю рыться в его корзине, знал, что тот не уйдет от него. Он указывал, командовал, и люди слушались, побежденные его обаянием.

– Почему же Неси смеялась? – вспоминал он, замирая, и говорил себе: – Это хорошо. – И опять продавал, беззаботно улыбался, думая, что радуется хорошей торговле...

Шлойма уже ушел, и Нахман не помнил, как простился с ним, – ряды торговцев стали редеть, а он все стоял возле своей корзины, не умея расстаться с удовольствием – отдавать свой товар, и брать за него деньги.

– Можете собираться, – произнес Даниэль, складывая ситцы, – народ уже расходится.

– Хороший день, – отозвался Нахман, все в упоении, – девочка принесла нам счастье.

Они заперли корзины, подхватили их и вместе с толпой торговцев двинулись к окраине.

Когда он вошел во двор, где жил, старуха Сима первая встретила его и затащила к себе.

– Зайдите, зайдите, – говорила она, не желая замечать его недовольства. – Иту спасли, и теперь она в родильной.

В маленькой пустой комнате, с сырыми стенами, на ска-

мейке сидели две девушки и мальчик лет четырнадцати. При виде Нахмана, девушки оживились и начали охорашиваться, а мальчик уставился на него большими, бессмысленными глазами.

– Вы еще не были у нее? – спрашивал Нахман, притворяясь, что не замечает знаков, которые ему делали обе девушки.

– Садитесь, Нахман, – сердечно сказала Сима, – я не могу забыть, что вы сделали для меня в эту несчастную ночь. Ита умерла бы без вас.

– Зачем об этом говорить, – покраснел Нахман.

– А теперь, сказать правду, и я не знаю, чего хочу от вас.

Вы мой защитник...

Она жалко улыбнулась, торопливо заплакала и, вытирая слезы, указывала на девушек. Старшая засмеялась, а младшая, Фейга, угрюмо проворчала:

– Он совсем не веселый.

– Вот, они смеются, – с досадой произнесла Сима, – а обе корзины пустые. Им что? Посмотрите, здесь и продать нечего, чтобы хлеба купить. Я не говорю о делах, – нищий, услышав меня, покраснел бы, – но меня бьют. Не верите? Поклянитесь, Нахман, что не верите, и я буду знать, во что вы верите. И Ита в родильной. Сама не знаю, Нахман, чего хочу – смерти, жизни.

– Она врет, – рассердилась старшая, Фрима.

– Мать, ты выжила из ума.

– Я молчу, – шепнула Сима, – кто силен, тот прав. Но посмотрите на мои руки, пусть они говорят.

Она оттянула рукав к плечу, и Нахман ужаснулся. От локтя до плеча шли черные кровоподтеки, и рука казалась залитой чернилами.

– Не может быть, – шепнул Нахман.

– В городе должен быть старший, – сиплым шепотом и моргая глазами отозвалась Сима, и в ее тоне послышалось что-то смелое, призыв к закону, который должен ее охранять.

– Она сама себя щиплет от злости, – бросила Фейга, покраснев.

– Неправда, неправда, – крикнул мальчик, – это Фрима так щиплет.

– Верьте моему Мехеле, – настаивала Сима. – Я здесь среди разбойников. Ита меня тоже колотила. И спросите меня: ради чего я терплю от них? Я старая, больная, – но везде свой хлеб зарабатываю... Спросите: ради чего я терплю?

Не ропот, а вопрос лежал в ее словах. Как будто до сих пор она делала нужное, важное, желанное, и лишь сейчас явилась мысль: зачем? Нахман, замученный, сидел, опустив голову, и слушал. Иногда у него мелькала мысль убежать немедленно к Неси, чтобы отдохнуть от этих ужасов, но Сима, словно угадывая, что происходит в нем, опять просила: посидите, посидите.

– Зачем ты выдумываешь? – с гневом вырвалось у Фри-

мы. – Ты хочешь разжалобить этого человека, но он тебе не поможет. Уходи от нас, если тебе не нравится. Мы прокорр-
мимся сами.

– Вы слышите, Нахман, – заволновалась Сима, – им нужно, чтобы я ушла из дому. Я знаю, зачем. Нет, нет, нет, – крикнула она, – убейте меня – не уйду! Я, Нахман, мать. Вырвите мое сердце, – все-таки я буду жалеть их, оберегать... Обе работают на коробочной фабрике и приносят по семи рублей в месяц. Сотни глаз нужны, чтобы их уберечь... Вот, Ита пропала, а шапочник потирает руки от удовольствия: он соблазнил хромую девушку...

– Мама, мама, перестань сердиться, – просил мальчик. – Вот Дина идет! – вдруг крикнул он, обрадованный. – Дина, Дина!

Старуха засуетилась.

– Дина, – прошептала она, и на лице ее мелькнуло блаженство, – вот мое сокровище. Это сама доброта. Посмотрите на нее.

Она вышла из комнаты, и Нахман последовал за ней. Девушка шла раскачиваясь, чуть касаясь земли, будто боялась придавить ее.

– Моя радость, – шепнула Сима.

Теперь Нахман разглядел ее. Она была стройная, с тонкими чертами лица, чуть-чуть бледная, – но спокойны и уверенны были ее глаза.

– Холодная девушка, – подумал Нахман.

– Это Дина, Нахман, – произнесла Сима Дина вскинула на него глаза, и ему показалось, что по лицу его прошел мягкий свет.

– Почему же вы стоите на пороге? – спросила она.

Она лишь теперь разглядела, что мать в слезах, и испуганно произнесла:

– Что случилось, мать?

Старуха зашептала. Из комнаты несся смех девушек. Фейга стояла у окна, прижавшись лицом к стеклу, и не сводила глаз с Нахмана.

– Я еще зайду к вам, – произнес он, простившись.

В комнате его поджидала Мейта, и как только он открыл дверь, она сейчас же спросила:

– Зачем вас Сима звала?

Он не ответил ей, весь под влиянием пережитого ужаса, и прошел в свою комнатку.

– Вам ничего не нужно? – говорила Мейта, идя за ним.

– Ничего, Мейта.

Она исчезла, но через минуту опять появилась на пороге и повторила свой вопрос:

– Вам ничего не нужно, Нахман?

Что-то странное было в ее взгляде, в ее движениях.

– Не может быть, – подумал Нахман, оглядывая ее и пугаясь своей мысли.

– Сегодня мать придет поздно, – тихо выговорила она. – Я посижу у вас, Нахман.

– Зачем? – спросил он.

– Я посижу, – настойчиво повторила она, но как бы спрашивая позволения.

– Мне некогда, Мейта, – я сейчас ухожу.

– Никогда вы дома не остаетесь, – посидите теперь.

– Не могу, Мейта, я должен увидеться с Неси.

Она внимательно посмотрела на него, отвернулась и, напевая, вышла из комнаты.

– Когда мне будет шестнадцать лет, – думала она...

И после его ухода, долго стояла у окна, думала, горела, напевала, и в голосе ее дрожали слезы.

Нахман шел к Неси... После первого знакомства он как бы покорился ей, и что-то сильное, имевшее власть приказывать ему каждый день, где бы он ни был, требовало: ступай к Неси, ступай к Неси. Он видел ее всегда перед собою, и в воспоминаниях она являлась такая же откровенная, смелая, дерзко рвавшая оковы, наложенные на нее окраиной... Она нравилась ему, – и очарование заключалось в том, что он боялся ее, боялся ее порывов, влечений, которые должны были привести ее к гибели. Когда она раскрывала ему правду окружавшей жизни, правду своих мечтаний, он сам возбуждался и горячо поддерживал ее, чувствуя, что ходит с нею над пропастью, в которую легко можно было упасть. Он не понимал еще, что влечет его к ней. Она казалась ему холодной, безумно равнодушной к человеческому сердцу, и то, что она была холодная, безумно равнодушная вызывало в нем лучшие инстинкты и желание победить ее. Подобно Натану, он никогда не любил и жил целомудренной жизнью здорового работника, который не думает о женщинах. В своем воображении он ставил, не разбирая, каждую высоко на горе и поклонялся ей. В чистоте стыдливости и тайного влечения, он предпочел бы проститутку лучшей целомудренной девушке, чтобы вместе с актом любви совершился и акт нравственности, – и Неси как будто привлекала его тем, что ходила на

краю пропасти. Ему казалось, что без его участия она неизбежно погибнет, и бессознательное сострадание требовало совершить спасение женщины. С каждым днем он все больше втягивался, – то, что он переживал, было гармонично, красиво, и оно стало потребностью. Нужна была Неси, с оголенной шеей, с ярко красной лентой вокруг черных волос, с округленными пластическими жемами; нужна была ее настороженность в глазах и речах, стремительность и хищность и опасность, грозившая ей; нужно было чувство страха за нее, восхищение, которого он стыдился...

Когда она бывала милостива к нему, он молча переживал свое блаженство... Она шла с ним в главную улицу окраины, откуда виден был город с его огнями, и он жарко говорил ей о своих желаниях и мечтах. И побежденная на миг светлыми словами о том, какую должна быть жизнь, к которой и сама стремилась, – она смягчалась, и оба как будто впервые узнавали друг друга. Она отвечала на его мечты дрожащим голосом, и ему и ей, хотя они еще были чужды друг другу, хотелось вечно идти, лишь бы добраться когда-нибудь до края, где жизнь освобождала людей...

Начинало темнеть, когда Нахман вошел во двор, где жила Неси. У каждой квартиры сидели мужчины и женщины и пили чай. В углу Нахман заметил Шлойму и Хаима. Лея, закрыв кисеей лицо, словно боялась людей, сидела к ним спиной.

– Ступайте сюда! – крикнул ему Хаим, махая руками. –

Узнаете новость... На фабрике...

Нахман не расслышал окончания, но кивнул головой. Из оконца квартиры правого флигеля сверкнули глаза Неси.

– Я зайду к вам позже, Шлойма, – крикнул он, засуетившись, – подождите!

Он повернул к правому флигелю, открыл дверь и вошел в сени. Неси не выходила. На скамейке сидел тринадцатилетний мальчик, Исерель, брат Неси, и читал книгу. При виде Нахмана, он бросил книгу и с радостью сказал:

– Ну, вот вы пришли, наконец. Нахман! Я так доволен...

– Я и сам не знал, что приду, – смеясь ответил он. – Отец дома?

– Дома. И все время сердится. Неси уже досталось от него.

Нахман поморщился от неприятного чувства и вместе с Исерелем зашел в комнату. Как и в сенях, в ней было тесно, стены пахли сыростью, и негде было повернуться. Неси сидела у оконца и выглядывала во двор. Торговка Энни, мать Неси, поместилась у дверей с чулком в руках, а на кровати уверенными жестами слепой нищий, Дон, отец девушки, считал деньги.

– Кто это? – спросил Дон и сейчас же ответил, пряча деньги: – Это – Нахман, я узнал его по шагам.

Он благосклонно улыбнулся, вытаращил слепые глаза, и Нахман, поискав места, уселся подле него. Неси не оглядывалась.

– Добрый вечер, – произнесла Энни своим неприятным

голосом, – что слышно в рядах?

Она очень охотно принимала Нахмана, и он был первый из молодых людей, который удостоился ее одобрения. И она и старик Дон имели виды на Нахмана и не находили ничего предосудительного в том, что он к ним зачастил.

– Да, в рядах, – повторила она, играя вязальными спицами. – Неси, почему ты сидишь к гостю спиной? Это некрасиво.

– Хочу так, – ответила девушка, бросив быстрый взгляд на Нахмана.

– Пусть сидит, где хочет, – отозвался Нахман, – мне это не мешает.

– Плохой совет, – оскалил зубы Дон. – Она хочет, – повторил он, вдруг рассердившись, и было непонятно, как из мягкого, приятного голос его мог сделаться таким скрипучим, злым. – Мать говорит, она должна слушаться.

– Я уйду, – со страхом шепнул Исерель, – сейчас опять начнется.

– Я прошу, – вмешался Нахман. – Право, мне все равно...

– Перестань, Дон, – серьезно сказала Энни, – человек говорит: ему все равно.

Неси встала, бросила на слепого злой взгляд и вышла из комнаты.

У Дона затрепетали ноздри. И как только скрипнула дверь, он вдруг сорвался с кровати и, уверенно ступая на ногах, протянув лишь руки, резко закричал:

– Назад, Неси, назад в комнату, я приказываю! Не слушаешь? Хорошо, уходи. Но помни, ты вернешься...

Так же уверенно ступая, он добрался, до кровати и, улегшись, проворчал:

– Я уже кожу сдеру с нее, непременно сдеру, такая проклятая душа раз в век рождается.

Нахману едва сиделось. Над интимной жизнью Неси как будто взвился занавес, и он увидел эту жизнь, – такую неприглядную, жизнь под властью дикого надсмотрщика. Каждое слово этого отца было красноречивой повестью мучений. Вставали длинные годы страданий в одиночку, и вся жестокость их лежала в каждом дрожании мускула на этом деревянном лице, в этих изуверских, будто равнодушных глазах, во всей крупной фигуре старика-нищего, с длинной седой бородой.

Теперь Нахман начинал понимать дикость и настороженность Неси, ее речи, порывания и безумную неосторожность, с какой она искала свободы...

– Она упряма, как сталь, – согласилась Энни.

– Я сломаю ее, – с ненавистью ответил Дон.

– Не знаю, что она сделала дурного, – не вытерпел Нахман, – честное слово, вы несправедливы.

– Не говорите пустяков, – нахмурился Дон. – С девушкой нужно разговаривать, держа кнут в руках. Со всякой девушкой. Я так всегда с ними говорил. Человек должен работать, Нахман, а не быть сталью... Спросите Неси, как она работа-

ет? День да, день нет. Что это, спрошу вас? У тебя здоровые руки, здоровые ноги, – пусти их в оборот. Я двенадцать лет, как ослеп, и никто мне еще копейки не дарил. Я работаю, я работаю...

– Он работает, – серьезно подтвердила Энни, играя спицами, – и если бы не он, мы умерли бы с голоду.

– Не понимаю, – хотел сказать Нахман, но удержался.

– Я работаю, – с гордостью повторил Дон, поглаживая бороду, – и ни у кого не сижу на шее, как моя дочь. Я работаю головой, руками, голосом... Вы слышали мой крик? А я могу сделать мой голос, как у ребенка, когда его мучат, как у котенка, когда его душат. Я упрямый, но гнусь, как молодая ветка, полная соков. Из моих глаз текут реки слез, когда нужно, но если бы потребовали реки меда, – я заплакал бы медом. Я так выучился петь песни, что разбойника трону. Я работаю...

– Он работает, – с гордостью повторила Энни, и глаза у нее заблестели.

– Почему Неси не хочет? – вспомнил он опять. – Принеси копейку, но потрудись над нею, вот чего я хочу и добыюсь. В чем сила человека? В работе. Работай, ловко работай. Дорога работа, а человек самый дешевый товар...

Он уже перешел к другому, заговорил о людях окраины, и Нахман с недоумением слушал.

– Все, кажется, трудятся, – произнес он, наконец, – что толку? Я не видел еще ни одного рабочего, который бы жил

хорошо.

– Не люблю, когда говорят пустяки, – с досадой перебил его Дон, – и машина работает. Чем труднее жить, тем ловчее нужно работать. Они дураки. В городе тысячи нищих – я выручаю лучше всех. Хотите, я сейчас сделаю так, что вы заплачете и отдадите мне все, что у вас в кармане? Вот как нужно работать! Они думают, что если бедны, то им все следует.

В его словах сквозила ненависть, и нельзя было понять, чего он хочет. Нахман, не возражая, пересел к окну, мечтая увидеть Неси. Старуха вышла в сени и долго возилась там. Совсем стемнело.

– Уже поздно, – с беспокойством произнес Дон, – я помолюсь.

Нахман кивнул головою, не оглядываясь. Двор осветился огнями. Словно желая избавиться от муки, Нахман искал теперь Неси. Старик стал читать молитвы.

– Ее нет, – с тоской думал Нахман, – может быть, она поджидает меня.

Странное волнение охватило его.

Оттого, что во дворе было людно, а он не находил Неси, и оттого, что в комнатке благоговейный голос произносил важные слова, которые облегчали и сбрасывали с человека ответственность за все, что творится на земле, – радость и печаль смешались в его душе.

Он не смел оглянуться, чувствуя на своей спине взгляд

слепого, но и хотелось ему вырваться от его чар и крикнуть громко, чтобы ему отдали Неси... чтобы не мучили людей.

Он видел их из оконца, и как уставшие волю казались они ему. Они беспомощно толпились у своих лачуг, и ему хотелось от сострадания вырвать свое сердце и отдать им для утешения, для просветления.

С дрожащими губами, со слезами на глазах, он повернулся к Дону и, как отцу своему, сказал:

– Если бы, Дон, вы могли увидеть людей во дворе, вы не сказали бы: люди – самый дешевый товар. Самый дорогой, Дон, самый дорогой... Посмотрите на них. Они устали, они разбиты. Ради чего они работали? Мне стыдно назвать их людьми... Это души, Дон, живые души. Они трудятся, страдают, – ради чего? На их пути я вижу: пот, слезы, кровь... Ради чего? Пот, слезы, кровь, – повторил он в волнении, – слезы, кровь...

Слепой замахал руками, – и снова, одни властные, полились твердые звуки из святых слов, которые сбрасывали со всех ответственность за то, что происходит на земле с человеком. Они лились глухо и светло, звали куда-то далеко от земного ничтожества и как будто прикрепляли крылья к телу, чтобы оно взвилось.

– Ну вот, – произнес Дон, – я кончил. Будем разговаривать...

Теперь, после молитвы, он казался добродушным, а длинная борода придавала ему вид святого.

– Вы сказали, – начал он...

В сенях кто-то затопал резко, с шумом. Дон оборвался. В комнату влетел Исерель и, бледный от ужаса, крикнул:

– Ступайте, Нахман, скорее к Шлойме. Кажется, Лея повесилась. Весь двор там!

Слепой вскочил с кровати... Нахман, не простившись, выбежал из комнаты и очутился среди толпы, которая неслась с криком к квартире Шлоймы. В ворота вбегал народ, и мальчики летели впереди. В толпе мелькнули глаза Неси, и Нахман на миг страшно обрадовался.

– Слава Богу, слава Богу, – послышался возле него знакомый голос.

– Это, кажется, Хаим, – подумал Нахман в смятении, – да, Хаим.

– Не бегите так, – попросил тот, – я задыхаюсь. Ее спасли...

– Я сильно встревожился, – пробормотал Нахман.

Он не имел слов от радости, и шел и смеялся. Хаим начал подробно рассказывать, как хитро Лея устроила виселицу в сарае, украв для нее у Шлоймы длинный шарф, и закончил с восторгом:

– Шлойма – герой. Одно сердце есть в мире – его найдешь у Шлоймы.

Они растолкали толпу и вошли в комнату. Любопытных уже выпроводили, и в ней было просторно. Шлойма сидел, подперев голову руками, и задумчиво смотрел на улицу. На

кровати лежала Лея, неузнаваемая, с посиневшим лицом, тяжело дышала, и каждый раз в испуге закрывала лицо руками.

– ...Скажи что-нибудь отцу, – говорила знакомая Нахману черноглазая женщина, – скажи, милая...

– Хотела бы не жить, – тихо произнесла Лея.

– ...И вот, – продолжила какая-то старуха, не отходившая от Леи, – прилетел ангел и сказал: от Бога я... Девочку твою возьму к Нему. И сказал: и будет она сидеть с Ним рядом и видеть дела Его.

– Так он сказал, – с восторгом прошептала Лея.

– И еще сказал: Ты, мать, подожди на земле. Придет день, и Он пошлет меня за тобою. И мать увидит девочку...

– Я буду ждать, – сказала Лея, закрывая лицо руками. – Теперь она там и видит меня?

– Мужайтесь, Шлойма, – произнес Нахман, повернувшись к старику.

– Я тверд, Нахман. Но сталь портится, железо портится, – отчего сердце не портится и чувствует? Бессильно время над ним...

Он отвернулся. Нахман стоял, как прибитый гвоздями, и молчал. Сидел в печали большой человек, раздавленный правдой жизни.

– Выйдем, Нахман, – шепнул Хаим, – ему лучше быть одному.

Во дворе уже было тихо. Толпа расходилась. У порогов квартир, устроившись на ночь, лежали мужчины, женщины,

дети. Было жарко и звездно.

– Я вам, Нахман, вот что хотел рассказать, – говорил Хаим. – Завтра фабрика начинает работать. Денег у ребят не осталось ни копейки, и пришлось сдать. Они пали духом, – но что до меня, я рад, я должен радоваться. Перестанут голодать. Два месяца мы промучились и разорились...

Они вышли из ворот и остановились. На улице было тихо, как в пустыне. Ни следа людей.

– Пять человек не принято обратно, – вспомнил Хаим, – пришлось уступить. Голод, Нахман, голод...

Он торопливо простился с Нахманом, и его худая фигура быстро исчезла в темноте.

– Какая жизнь, – с ужасом подумал Нахман, с недоумением оглядываясь и как бы спрашивая себя, что ему теперь делать.

– Нахман! – раздался вдруг тихий голос. Он радостно оглянулся. От стены отделился Исерель и, крадучись, подошел к нему.

– Я давно вас жду, – шепнул он, – мне Неси приказала. Не уходите, она скоро выйдет к вам.

– Когда она тебе сказала? – усомнился Нахман.

– Сказала. Мне нельзя долго оставаться здесь, Нахман. Мать два раза выходила звать меня. Может быть, отец меня побьет теперь, но я обещал Неси... Я вас так люблю, Нахман! – вдруг вырвалось у него. – Отчего я вас люблю, Нахман?

Он стоял и дрожал от волнения и порывался к нему руками.

– Дома нехорошо, – прошептал он, – в мастерской нехорошо, – только вас я люблю.

– Иди, иди милый, – с нежностью выговорил Нахман.

Он дружески улыбнулся ему, и мальчик, помедлив, скрылся во дворе.

– Неси, Неси! – послышался неприятный голос Энни.

Нахман стал ходить. Как будто все опоры, которые поддерживали его, рушились, и его охватили страх и уныние.

– Неси, Неси! – доносился ноющий голос старухи.

Он остановился у стены. «Отец побьет ее ночью», – пронеслось у него. Он сжал кулаки, замученный противоречиями, которым не знал разрешения.

Неси, Шлойма, Сима, Хаим и весь двор, усеянный спавшими и наработавшимися людьми, все завертелись перед ним, все как бы вошли в одну огромную мельницу, и оттуда раздавались их страстные крики: почему, почему?

– Я уйду, – говорил себе Нахман, – я не в силах ждать. Отчего она нейдет?

Какая-то парочка приближалась к нему, и густой мужской голос говорил.

– Завтра, Роза я буду...

– Это Абрам, – в волнении подумал Нахман, прижимаясь к стене, чтобы они его не заметили, – он счастлив.

Настроение его вдруг переменилось, как будто радость

этой пары осветила и его жизнь.

– Ну, вот и я, – вдруг произнесла Неси, тронув его за плечо. – Я так и знала, что вы не уйдете. Вы бы и до утра не ушли отсюда.

Он рассмеялся от радости и весь еще под влиянием милых чувств, только что вызванных чужим счастьем, бросился к ней, как к родной, и взял ее руки в свои.

– Конечно, конечно, Неси, – произнес он. – Наконец-то вы пришли!

– Пустите мои руки...

Она пристально посмотрела на него, как бы соображая о чем-то, и сейчас же уныло бросила:

– Какой тяжелый вечер сегодня, Нахман, какой тяжелый!..

Она взяла его под руку, и они молча пошли, не прижимаясь друг к другу, будто только сила одиночества свела их на миг, чтобы сейчас же развести в разные стороны.

Ночь росла. И она была унылая кругом, во всех улицах, переулках, где они проходили. Низенькие дома, как упавшие на колени чудовища, повсюду ползли за ними, и не было ни одного светлого луча, который пересек бы их путь.

– Сегодня, – говорила Неси, – отец пригрозил мне. Я вижу, как он не спит и злится и поджидает меня. Он приготовил палку, и она лежит рядом с ним.

– Мать звала вас, Неси, – ответил Нахман испуганным голосом. – И я не знаю, как помочь вам... Вернитесь домой.

– Не заботьтесь обо мне, – сухо произнесла она. – Я про-

жила без вас семнадцать лет, проживу и эту ночь. Вы трусливы.

Она вдруг отняла свою руку, словно что-то осквернило его в ее глазах, и с мольбою сказала:

– Мне, Нахман, человек нужен... Вы смеетесь? Нет, вы не смеетесь, но у вас опять испуганное лицо. Посмотрите на меня мужественно, – умоляю вас!.. Здесь так тяжело, – я бегу к вам; но вы такой слабый, что я готова заплакать.

– Неси, Неси, – умолял Нахман.

– У вас, Нахман, сердце; у меня его нет, и я потому еще бегу к вам. Но вы слабы, слабы – я это чувствую даже в вашей походке. Нет, нет? Так прикажите мне что-нибудь! Поднимите вашу руку и ударьте меня!

Она вдруг повернулась и быстро пошла от него, а он побежал за ней, весь в огне, упоенный ее голосом, жестами, ее молящей фигурой, в которой было столько искреннего страдания. Теперь он чувствовал свою власть, бежал за ней, нарочно не догоняя, и, словно вдыхал раскаленный воздух, запинаясь твердил:

– Не уходите еще, Неси, не уходите!

Она внезапно остановилась и долго всматривалась в его лицо.

– Я не знаю, – выговорила она, наконец, – зачем я слушаю вас, когда вы просите. Вы умеете что-то затрагивать во мне, – но это, Нахман, не то... Я бы в огонь пошла, если бы вы знали настоящее слово. Мне нужно пойти в огонь...

Она в отчаянии всплеснула руками.

– Мне хорошо, когда вы говорите о людях, Нахман. Расскажите мне о них. Пойдем в большую улицу и будем смотреть на город. Огни еще не потухли...

Она взяла его под руку, и они опять пошли медленно и оглядываясь.

– Говорите, говорите, – просила она.

Они проходили длинный, темный переулок, впадавший в главную улицу окраины, и в темноте и в тишине было какое-то очарование от шороха этих молодых тел с трепетом прижимавшихся друг к другу.

Нахман молчал.

Как его будто голос должен был вызвать к жизни что-то дурное, притаившееся в темноте, – он не смел говорить. Она требовала: говорите, говорите, – а он знал лишь одно слово, от которого кружилась голова.

– Но меня ждет отец, – нетерпеливо умоляла Неси, – дайте мне немного сил. Вы молчите? Зачем же вы зовете, поджидаете меня? Посмотрите на меня смело! Нет, не можете? Скажите: ступай за мной! Не можете?

Она все более раздражалась. Разве Нахман не как все? Она хочет человека, – его нет. Она хочет свободы, – ее нет. Она хочет света, – его нет.

– Вы слышите, Нахман! – крикнула она. – Ничего у меня нет. С детства меня гнали на работу, и я устала, голодна. Я зла, но дайте немного свободы, и я смягчусь. Я смягчусь, На-

хман. Отец бьет меня, но я чиста еще не потому, что боюсь его, а потому что хочу большего. Я могу завтра же бросить дом, – но я жду...

Она говорила, бросала слова, терялась...

– Скажите, – продолжала она, – если я пойду в город и попрошу первого богача, которого встречу, чтобы он взял меня, – он сделает? Посмотрите на меня скорее и скажите.

Она остановилась и близко придвинулась к нему.

– Смотрите, Нахман, оглядите меня... Не лгите. О, будьте смелы хоть теперь! Подумайте, – продать это негодное тело, которое здесь никому не нужно, отдать живого человека, над которым издевается отец, преследуют нищие-бедняки, и на миг стать сильной, крепкой, как золото, ходить среди гордых, богатых людей и хоть один раз сказать «я», – что может меня удержать?

– Но вы безумная, Неси, – возмутился Нахман, – как можете вы со мной говорить об этом?

Он хотел рассердиться, прикрикнуть на нее, но когда он взглянул на ее лицо, его охватила жалость. Теперь он чувствовал себя обязанным ей за правду, которой она как бы связала свою измученную, тоскующую душу и доверчиво отдала ему на суд. Он смотрел на нее с состраданием – и видел зло. Но оно шло не от нее, а от этих проклятых домов нищеты, грязных, заброшенных, утопавших в великом горе. В этой замученной девушке кричали тысячелетия рабства, плакали тысячелетия обид, унижений, может быть, возмути-

лись лучшие инстинкты человека, который не выдержал... И со всей нежностью, на которую был способен, он сказал ей:

– Пожалейте себя, Неси!

– Вы понимаете, вы верите? Я хочу вздохнуть, только вздохнуть, дорогой мой!

Теперь они завернули в большую улицу и вдруг увидели огни города. Точно в ожидании пляски, притаились они, и широкий полукруг их казался чудесным ожерельем из крупного жемчуга. Прорвавши темноту, они кивали, манили, и рождалось необоримое желание бежать к ним, обнять их, кружиться, благодарить.

– Город, город! – воскликнула Неси, всплеснув руками. – Дорогой мой, уведите меня туда, дорогой мой...

– Но я люблю вас, Неси, – вырвалось вдруг у Нахмана, – люблю... Разве вы этого не знали?

– Я знала, – смеялась Неси и плакала, не отрываясь от огней. – Поцелуй меня, Нахман!

Она покорно отдалась его ласкам, и оба счастливые, светлые, смотрели на город, на огни...

– Если я скажу: богатый господин, возьми меня, – он возьмет? – иногда спрашивала Неси. – Дорогой мой, посмотри на меня и скажи...

– Не говори, – умолял он ее; и тогда она повторяла:

– Ты боишься? Ты труслив как мальчик...

И опять она целовала его, смеялась, о чем-то думала, а Нахман, опьяненный, без дум отдавался ей.

– Смотри, дорогой мой, – печально произнесла она вдруг, – огни пропадают.

– Но я с тобою, радость моя...

– Они тухнут, – все скучнее и, как бы приходя в себя, говорила она. – Вот еще, еще... Прощай, Нахман!

Она неожиданно пошла от него, по-прежнему глухая, неприступная, и он, догнав ее, с мольбой говорил:

– Отчего ты уходишь, Неси, отчего?

А она не слушала и все быстрее уходила, и он шел быстрее и, не понимая, что случилось, безнадежно умолял:

– Отчего ты уходишь, скажи. О, не молчи!

Начинало светать...

6

Нахман переживал тяжелые дни. После памятного вечера Неси упорно избегала его, и он никак не мог добиться поговорить с ней с глазу на глаз. Как только он приходил, она сейчас же исчезала, и ее нельзя было дожидаться. Он просиживал у Шлоймы, у ее родных, возился с Исерелем, и оба они искали ее повсюду, – все было напрасно. Он горел, и ему казалось, что если бы она услышала его голос, одно его слово, то опять бы вернулась к нему покорная, как в ту ночь, когда отдавалась его ласкам. Он негодовал, чувствуя за собой правоту, и это подсказывало ему тысячи слов, горячих, пылких, которыми он раздавил бы ее, если бы она захотела его выслушать... Самое мучительное было в том, что он не понимал ее, и все-таки он любил в ней именно это непонятное. Она преследовала его всюду своими словами, своей мольбой, жадной чего-то смутного, прекрасного, и он не понимал, как мог отпустить ее в тот вечер. Какая великолепная, чудесная жизнь наступила бы, если бы она была с ним... Он закрывал глаза от света радостных образов и видел, как прижимается к ней, целует ее руки, шею... Он чувствовал ее теплоту; она пахнула вся, и, вдыхая, ему казалось, что он ее целует... Вся чистота, которая делала его стыдливым, ушла, ушел и страх перед ее красотой, и осталось одно в воображении: белое девичье тело, ослепительное, жгучее, ласковое,

которое отдавалось ему...

Время между тем подвигалось. Наступали последние дни жаркого лета, и в рядах теперь, перед осенью, стояло самое тяжелое время: торговля падала, покупатели уменьшались, и нужна была вся изворотливость опытных торговцев, чтобы продержаться до весны. Шестьдесят рублей, вложенные Нахманом в дело, давно разошлись незаметно, по мелочам кормился Даниэль с семьей, Нахман раздавал деньги направо и налево, не умея отказать просившим беднякам-товарищам, но в дни упоения торговлей ничего не замечалось. Теперь нужно было подумать о кредите, который единственно мог спасти, и Нахман отдался заботам минуты. Он бегал к Шлойме за советом, сходил к торговцам, старался подражать им в ведении дела, и постепенно образ Неси начинал отходить от него.

По утрам приходил Даниэль и приносил свежие новости, всегда забавные, всегда интересные. Он был болезненный, худой, похожий на цаплю, и плохо залеченный плеврит оставил его навсегда слабым. Он никогда не был спокоен, вечно находился в движении, вечно у него горела мысль, и походил на костер, который не потухал. Подобно всем в окраине, Даниэль любил образованность, газеты, хорошую книжку... Из последних грошей он посылал мальчика своего, Мойшеле, в школу, – старший, пятнадцатилетний, работал на фабрике, – и об этом Мойшеле рассказывал с восторгом Нахману удивительные вещи. Когда торговля утихала, у него, неизвест-

но откуда, появлялась газета в руках, и он читал ее вслух, с комментариями, а Нахман, не отрываясь, слушал. В последнее время он часто заговаривал об евреях и их судьбах и однажды совершенно неожиданно открыл Нахману, что стал сионистом и записался в кружок.

Оба сидели у корзин и тихо разговаривали. Наступил обычный перерыв. Торговцы, укрывшись в тени своих огромных зонтиков, не спеша завтракали.

– ...Еврейское царство, – продолжал Даниэль, устремив взор к далекому горизонту и указывая пальцем. – Когда мы будем у себя, Нахман...

Он мигнул глазом, будто знал, как это сделать, и Нахман, меланхолически глядя на него, монотонно повторил:

– Когда мы будем у себя...

– Видите ли, Нахман, – произнес Даниэль, обеспокоенный недоверием товарища, – я человек простой, совсем простой человек, пустячок, но я не скажу: не верю. Такого человека, как я, – посмотрите на меня хорошенько, – если бы он сказал: не верю, мало было бы убить. Верь! Положи голову под крыло, как птица, и верь! Что нам осталось, кроме веры? У нас был один Моисей... Мы оба, Нахман, не сильны в истории, но о Моисее слышали. Вот он вывел нас из Египта. Что значит нас? Кого нас, что нас? Нас тогда не было.

– Я вас не понимаю, Даниэль, – выговорил Нахман, глядя на него во все глаза.

– Так, – добродушно рассмеялся Даниэль, – но об этом

нельзя ясно говорить. Тут все в угадывании. Здесь, Нахман, душа работает. Послушайте наших, других... Иногда мне кажется, что я скорее понял бы француза, турка, чем их. Но я, Нахман, угадываю. Я понюхаю, и в голове как будто солнце загорается. Это трогает сердце, что-то дрожит в вас, и слезы подступают к горлу...

– Я тоже что-то почувствовал, Даниэль, – признался Нахман. – Еврейское царство... Сердце поднимается так высоко, что не хватает воздуха в груди. Я никогда не думал о нем, но это трогает, как если бы возле меня стояла мать и плакала. Наше царство. Где оно? Когда сидишь в этой шумной и грязной улице, среди бедных, несчастных людей, то просто не верится, что мы были когда-то свободными, сильными. Зачем мы ушли из нашего царства? – вдруг вырвалось у него.

Они молча смотрели друг на друга, оба охваченные одною печалью.

– Когда сидишь в этой грязной, шумной улице, – повторил Даниэль, – как отратно думать о своей стране, которая ждет нас, тоскует...

– Мне кажется, – тихо произнес Нахман, – лучше жить так, как мы живем теперь, с надеждой на лучшее, чем жить там и потерять ее...

– Я не понимаю вас, Нахман, но я чувствую, угадываю... Вы говорите: «там». Что такое «там»? Там... нас... Я кладу голову под крыло и верю.

Они долго сидели молча, и оба думали о евреях. Рань-

ше ни один из них не отдал бы минуты своего времени для большого вопроса, – теперь о евреях нельзя было не думать. Евреи шли отовсюду, со всех сторон, и требовали внимания, ответа. Что-то светлое носилось в воздухе, бросало по пути лучи, и их нельзя было не заметить. Раньше никто не думал об общем, еврей страдал за себя, страдал вдвоем, – но общей мысли, общей причины никто не знал. Теперь сразу открылась вековая тайна, – она шла вширь и вглубь, и, как прилипчивая болезнь, заражала быстро и верно. Никто не знал, что случилось, но один сказал первое слово, и слово неслось, как молния, как победитель, было и здесь и там, и от него нельзя было укрыться.

– Если я скажу, – произнес, наконец, Даниэль, – Авраам, Моисей, Герцль, а вы повторите: евреи, рабство, домой, то это будет одно и то же. Вдумайтесь хорошенько. Разве в этих улицах или здесь, в рядах родина еврея? Ведь это все равно, что иметь собственный дворец и сидеть у сердитого сторожа в сарае. Нам не нужна чужая земля. Конечно, когда мы были псами и не хотели вспомнить, что у нас есть дворец, – сарай тоже кое-что. Но у нас, Нахман, своя дорогая, святая земля...

Он стал объяснять, каким образом вернется святая земля в руки евреев, и когда дошел до момента восстановления царства, голос его звучал торжественно, и глаза выражали прекрасное и трогательное.

– Мы засеем нашу землю, – говорил он, – и нам не скажут:

не смей. Наши виноградники расцветут, наш хлеб уродится тяжелый и густой, мы начнем собирать жатву, – и нам не скажут: не смей. Мы построим дома и дворцы, мы углубимся в страну и заселим все уголки, – нам не скажут: не смей. . .

– Откуда вам это все известно? – с удивлением спрашивал Нахман, – вы говорите, как по книге.

– Я ловлю слова в воздухе, и сердце поет. Когда живешь в рабстве, то научаешься славить свободу. От одного слова надежды становишься натянутой струной, и она радостно звучит.

– Но мы не в рабстве, – возразил Нахман. – Если рабство, – где оно? Мы свободны. Я знаю, что трудно жить в нищете, в голоде. Но где нет нищеты, где ее не будет? Мне сладко думать о старой родине, но это, Даниэль, не то, что мне нужно.

– Я тоже так думал, Нахман. Приходите в субботу к нам, когда мы собираемся. . . Теперь я живу так, как будто у меня были крылья, и их обрезали. Я хочу лететь, – не могу и страдаю. Когда мы будем у себя, я спрошу вас, где лучше? В тот день, когда мы будем ходить по улицам нашей родины, и наши детишки будут играть подле дворов, – мы, Нахман, без крыльев полетим, мы без хлеба будем сыты. Родина, родина!..

Он остановился, задыхаясь от волнения, Он видел ее, хотел ее, он страстно рвался к ней, уверенный, что, при одном взгляде на святые города, исчезнут, как обман, все беды ев-

реев.

Родина!

И звуки нужные, звуки ласковые дрожали в его горле... Вставали милые сердцу образы библейских людей, Авраамы, Исааки, Яковы, Иосифы, вставали герои, пророки и вся легендарная жизнь избранного народа когда он еще был в общении с Иеговой. Какой жалкой и обидной казалась жизнь кругом...

Кто были эти евреи, бритые и бородатые, женщины в чужих одеждах, – все покорившиеся рабы, перенявшие у господ внешность, язык, нравы...

Куда давались библейские длиннобородые люди, их одежда, их мощь, их святость? Куда девался священный язык народа?

И, как крик боли и как вопль торжества, он воскликнул:
– Родина, родина!..

Тяжелое, неразрешимое переживал Нахман. Родина! Но она была здесь, подле него, в каждой улице, в каждом камне, по которому он ступал.

Она была здесь, и в доме, где он родился, и на кладбище, где лежали родные, близкие...

При мысли о старой родине, далекой и неведомой, томительно вздыхалось, – но все же родина была здесь, где сотни лет проживали евреи, и от нее невозможно было отказаться.

И отвечая не Даниэлю, а самому себе, он проговорил.
– Родина здесь!..

Ряды оживали. Опять, неизвестно откуда, как будто их высыпали, появились люди. Стало тесно. Толпа лениво передвигалась, иногда останавливаясь подле торговцев.

Даниэль отдался делу, и странно было теперь слушать его бойкую, базарную речь... Августовское солнце немилосердно жгло, и духота стояла, как в середине лета.

Нахман изнемогал. Весь в поту, темный от пыли, с пересохшим горлом, он убеждал, клялся, зазывал, как будто дело шло о всей его жизни. Покупатель лениво перебирал товары, торговался, набавлял по грошу, и бывали минуты такой досады, что Нахман едва сдерживался...

– Здесь долго не проживешь, – шепнул ему Даниэль, у которого глаза смыкались от усталости, – к осени они меня похоронят...

И опять хрипло кричал:

– Купите, барышня, гребешок; кому нужен самый лучший гребешок?

День подвигался медленно, тяжело. Раза два Нахман уже подходил к Шлойме, чтобы переброситься словом. Торговли не было.

– Что скажете, Нахман, на сегодняшний день? – угрюмо произнес Даниэль.

Какая-то женщина, толстая, в веснушках с заплаканным лицом, подошла к нему сзади и тронула его за плечо. Даниэль обернулся, и на лице его появился испуг.

– Что случилось, Хана? – упавшим голосом произнес он. –

Ты плачешь? Нахман, спросите ее. Посмотрите, у меня похолодели пальцы...

Хана снова начала плакать и тихо шепнула:

– Лейбочке машиной оторвало два пальца. Не кричи, Даниэль... Лейбочка в больнице.

Она со страхом глядела на него, и в глазах ее была смерть. Нахман засуетился. Хмурый и как будто неумолимый к кому-то, он схватил Даниэля за руки и, крепко держа их, с ненавистью пробормотал:

– Нужно быть человеком, Даниэль; в этой проклятой жизни оно одно еще помогает.

Даниэль не слушал. Лейбочка, кроткий и послушный, стоял перед его глазами, и только его, окровавленного, искаленного он видел, только его плач он слышал.

– Мой бедный мальчик, – умолял он, блуждая глазами по окружавшей его толпе. – Мой бедный, невинный мальчик!

– У богатых детей пальцев не оторвут, – слышался из толпы желчный женский голос. – Будь они прокляты, богачи эти!

– Очень хорошо, – говорил Шлойма, стоявший в толпе.

Он подошел к Даниэлю, положил ему руку на плечо и ласково сказал:

– Мужайся, Даниэль. За каждую каплю нашей крови они отдадут нам реки своей. Конец идет...

Кругом люди шумели и волновались. Словно очнувшись от глубокого сна, стояли они, вспоминая, как сами живут,

что их ожидает. На миг как бы сверкнула правда, и она была в плачущем голосе мужчины.

Они перебирали свои беды, все опасности, которые им ежеминутно угрожали, и теснились друг к другу, как испуганные дети. Даниэль с женою давно ушел, а они все стояли, сбившись в кучу, не имея мужества окунуться в свои дела, и весь день были печальны, растроганы.

Нахман с трудом дождался вечера. Он был молчалив и с ненавистью наблюдал суету людей, кончавших трудовой день.

Раньше работа здесь казалась ему важной, словно она и в самом деле спасала человека от ударов.

Теперь он видел в ней хитро придуманный соблазн, заставлявший забывать об опасности, о беде. Лишь ей отдаваясь, можно было спокойно, закрыв глаза, приближаться к пропасти, поджидавшей каждого; только благодаря работе, несчастные упорно оставались рабами.

Что стало с ним самим? Без денег, в долгах, которые теперь сидели прочно на его спине и, как змеи, высасывали всю свежесть мысли, всю чуткость его сердца, – разве он не жил той же мертвой, темной жизнью? В тяжелом раздумье возвращался он домой. «Нужно положить голову под крыло и верить», – вспоминались ему слова Даниэля.

– Во что верить? – спрашивал он себя в скорбном недоумении, шагая по пыльным улицам.

Промчалась конка. Нахман поднял глаза и внезапно оста-

новился от изумления. На одной из скамеек сидела Неси, разодетая, и лицо ее было полно печали.

– Побегу за ней, – мелькнуло у него.

Конка была уже далеко. Он повернулся, охваченный странным предчувствием, и, размахивая руками, побежал по улице, крича:

– Неси, Неси!

Шум дрожек заглушал его крик.

– Неси, Неси! – не унимался он, совершенно потерявшись.

Конка летела и как будто подсмеивалась над его усилиями.

Кучер трубил в рожок, лошадей, казалось, несли крылья, и через минуту конка, завернув в другую улицу, скрылась.

– Она была разодета, – размышлял Нахман, остановившись и чувствуя, как его пронзает ужас. – Я увижу ее вечером.

Когда он пришел домой, его встретила мать Мейты, Чарна. Она сидела у порога своей квартиры и пила чай.

– Добрый вечер, – ласково произнесла она, – вот сегодня, Нахман, вы поздно вернулись... Вы напоминаете мне ту жену, у которой обед был готов всегда на полчаса позже. Вас спрашивала хорошенькая девушка.

– Девушка? – пробормотал Нахман, вдруг похолодев.

Он вошел в комнату, а старуха вдогонку лукаво говорила:

– Хорошенькая девушка... Неси. Вы ведь с ней знакомы.

Нахман уже догадался.

Он зашел к себе и, не зажигая лампы, опустился на стул.

– Зачем Неси приходила? – монотонно спрашивал он себя и отвечал: – Не знаю, не понимаю.

Он хотел встать, но чувствовал себя таким разбитым, что побоялся не удержаться на ногах. В соседней комнате слышались шаги Мейты.

Она заглянула в комнату и, увидев, что в ней темно, сказала:

– Я зажгу лампу, Нахман; вы не можете оставаться в темноте.

– Подождите, Мейта, – произнес он.

Она остановилась на пороге в ожидании, и сердце у нее билось быстро.

– Здесь была Неси, Мейта. Вы ее видели?

– Я ее видела, Нахман. У нее глаза были заплаканы.

– Заплаканы, – вздохнул Нахман, издав звук горлом. – О чем она говорила?

– Она говорила: мне нужно увидеть Нахмана, мне очень нужно увидеть Нахмана. Только на одну минуту.

– Только на одну минуту, – с сожалением произнес он. – Отчего же меня не было дома?

– Она ходила по комнате, садилась, вставала. Она казалась мне больной. Она выглядывала из окна, утирала глаза, выходила во двор, возвращалась и все повторяла: мне нужно увидеть Нахмана, мне очень нужно увидеть Нахмана...

– Бедная, бедная девушка! – вырвалось у него.

– Вы ее любите? – раздался в темноте робкий, дрожащий звук.

– Я не знаю, Мейта, но теперь у меня разрывается сердце. Я бы для нее жизни не пожалел.

Что-то задрожало у дверей. Пронесся глубокий вздох... оборвался... Нахман внимательно слушал.

– Мейта, – позвал он, – Мейта!

Никто не откликнулся. Вошла Чарна и своим добрым голосом спросила:

– Вам что-нибудь нужно, Нахман?

Он ничего не ответил, а старуха, вертясь по комнате, говорила:

– Старому человеку нужно что-нибудь, а молодому и всего мира мало. Я вам расскажу историю о человеке, и она вас чему-нибудь научит. Куда это Мейта пропала? Мейта, Мейта... Вы видите, – ее нет. Это тоже имеет свою глубокую историю. Однажды у одного сильного царя...

– Подождите, – прервал ее Нахман, начав прислушиваться, – кажется, кричат во дворе.

Старуха высвободила уши из-под косынки и насторожилась.

– Да, да, – произнесла она, – кричат. Человек не может не кричать: он рождается с криком; в крике проходит его жизнь...

Нахман вскочил. Шум становился все громче и врвался в комнату, как будто бы окна в ней были раскрыты.

– Это у Симы, – объяснила Чарна. – Своими несчастьями она мне напоминает историю с человеком, который, однажды зевнув, не мог закрыть рта.

Но Нахман уже не слушал и выбежал из комнаты. Во дворе стояла толпа соседей, и Сима о чем-то кричала, указывая на хромого Иту.

Мехеле держался возле нее и надорванным от рыданий голосом умолял:

– Довольно, моя мама, довольно, перестань уже!

– Никто моего сердца не знает! – крикнула Сима, отбросив мальчика и тоскливо оглядывая толпу. – Я одна, как палец, – кто хочет пожалеть больную старуху?

– Говори уже, что случилось, – с нетерпением перебила ее соседка-старуха.

– Ты спрашиваешь? Я тебя спрошу. В городе должен быть старший, скажи! Вот Ита вышла из больницы... Только тот, кто наверху, кто все видит и знает, – знает, что мое сердце перенесло. Был стыд, был яд, больница, выкидыш, – спрашиваю у всех, в чем я виновата? Разве я велела ей влюбиться в этого разбойника?.. Она вернулась из больницы, – ни одного слова я не сказала ей. И с первого же вечера началось: хочу отравиться, хочу отравиться.

– Ты еще говоришь, – перебила ее Ита страстно.

– Вы слышите: я говорю... Научи меня молчать, – покажи, как это сделать. Я не прошу любви у них, – но пусть дадут отдохнуть. И начинается...

– Довольно, моя мама, – послышался голос Мехеле, – довольно.

Толпа хмуро молчала. Женщины, сложив руки на груди, угрюмо переговаривались. Старики сочувственно кивали головами и, сжимая кулаки, от сознания своего бессилия против новой жизни, развращавшей их дочерей, с яростью выкрикивали:

– Их нужно задушить, задушить!

Нахман не отрывался от хромой девушки, столько переживавшей. Она стояла в угрожающей позе и диким взглядом окидывала толпу.

– Позор мне, – иногда вскрикивала она, – это делает мать...

– Посмотрите на вторую, – неистовствовала Сима, подойдя к своей квартире и указывая на Фриму. – Довольно уже скрывать. Что скажете на мое несчастье? Вот она пришла с подбитыми глазами. Кто ее бил, спросите? Где она была? А Фейги еще нет...

Она как будто лишь теперь поняла весь ужас своей жизни и, всплеснув руками, зарыдала диким голосом. Мехеле опять начал кружиться, прыгать вокруг нее и жалобным голосом просил.

– Моя мама, моя мама!..

Толпа медленно расходилась. Старуха-соседка подошла к Симе и увела ее. У порога стояла Фрима, покачивалась и, обращаясь к двум девушкам, спрашивала:

– Я пьяна? Неправда. Я выпила только одну рюмочку сладкой водки. Может быть, две... И теперь мне весело. Я не чувствую жизни.

– Она пьяна, – с ужасом говорила Сима, наклоняясь к уху старухи. – Если бы кто-нибудь меня убил, я благословила бы его руку...

– Ты сердисься, мать, – смеялась Фрима, – но я не слушаю тебя. Что такое вся жизнь, мать? Мука, проклятие... Так повеселюсь немного. Твои корзины еще успею носить.

Нахман не стал больше слушать, вышел на улицу и повернул к дому, где жила Неси. Он старался ни о чем не думать, чтобы не лишиться мужества. Над ним бежали густые, серые тучи, и молочное небо, освещенное луной, быстро темнело. Поднялся ветер, крепкий, как на море. Короткие тени домов слились с темнотою.

– Сейчас дождь пойдет, – подумал он с беспокойством.

Мелькнула молния и, как лезвие, разрежала небо на две половины. Запахло фосфором, грянул гром, и дождь начался. Нахман ускорил шаги. Деревья трещали, телеграфные столбы гудели, у стен неся свист, и минутами ветер так шумел, что Нахман переставал слышать.

– Я не увижу ее, – тревожно думал он, входя во двор.

В квартире нищего Дона было светло. Нахман заглянул в окно и увидел старуху Энни. Неси не было в комнате. Он вышел на улицу, решил подождать ее. Промокший и продрогший, он прижался к стене и забылся.

Время тянулось медленно. Дождь усиливался, и казалось, что вблизи секли кого-то, – переставал, опять начинал... Из города неожиданно донесся плачущий звон башенных часов.

– Уже поздно, – лениво подумал Нахман, – где она может быть?

Он снова стал ждать. Дождь утихал. Далеко впереди небо очистилось и было похоже на матовое стекло. Показалась луна и осветила улицу. Опять с плачем прозвонили часы.

– Я не дожусь ее, – встрепенулся Нахман, вдруг почувствовав, что напрасно стоит здесь.

Он отошел от стены и, весь в печали и скорби, зашагал по грязным тротуарам.

Как страшна была жизнь здесь, в окраине! Чем больше она раскрывалась ему, тем шире разрасталось что-то огромное, свинцовое, и мысль перед этим оставалась такой же беззащитной, как человек, на которого навалилась гора. Жизнь мчалась, разнузданная, мелочная, и он никак не мог взять в толк, откуда шло главное зло, кто был истинным врагом людей.

Каждый здесь делал только то, что неизбежно коверкало его существование, и в этом было что-то роковое. Одни убежали из окраины и где-то погибали; другие пропадали здесь. В семьях не было связи, единства: старые ненавидели молодых, молодые ненавидели старых.

Здесь отравлялись от отчаяния, от неудач, погибали дети, подростки пьянствовали, отдавали последние гроши на иг-

ру, и везде и во всем неизлечимые беды без отпора били по тысячам людей. Как называется то слово, которое зажгло бы огонь возмущения в сердцах этих задавленных людей?

У ворот его дома какая-то женщина нагнала его и, заглянув в лицо, страстно шепнула:

– Это вы, Нахман, – откуда так поздно?

Нахман испуганно обернулся и увидел перед собой Фейгу.

– Вы тоже не рано возвращаетесь, – произнес он с досадой.

– Вот как, – ответила она, сверкнув глазами, – и вы сердитесь?

Она вдруг потянула его за руку, улыбнулась и, не дав опомниться, быстро обняла его и жарко поцеловала.

– Какой вы приятный, – шепнула она, – ваше лицо теплое...

– Вы с ума сошли, Фейга, – проговорил он, покраснев и чувствуя, что не может рассердиться, – перестаньте же! Вы опять?

Но она по его голосу поняла, что с ним, и теперь все крепче сжимала, увлекая подальше от ворот, и он шел за ней и бормотал:

– Это стыдно, Фейга, я прошу вас. Вы такая молоденькая...

А она сдавленно смеялась, прижималась к нему, целовала и страстно говорила:

– Не сердитесь, – вы так мне нравитесь. Я сказала себе: Нахман будет моим... Я не свяжу вас, нет, нет. Дайте только

надышаться вами, а потом ступайте, куда хотите. Обнимите меня. Обними меня! Смотри, Нахман, – меня не видно в твоих объятиях. Ты не умеешь целоваться... Милый Нахман!..

Она смело взяла его за руку, и он покорно пошел за ней...

* * *

Светало, когда Нахман вернулся домой. В первой комнате он увидел Мейту. Она сидела на стуле и спала. Услышав его шаги, она проснулась, быстро поднялась и отошла в сторону.

– Как поздно! – прошептала она.

Нахман не ответил ей и, с странным отворачиванием к себе, прошел в комнату...

В тишине раздавались подавленные звуки. Кто-то плакал...

С каждым днем Мейта все более влюблялась в Нахмана, с каждым днем... Как будто проклятие повисло над ней. Чем откровеннее он избегал ее, тем страстнее и упорнее она тянулась к нему, не смея от стыда и страха выразить свои чувства. Молчаливая и внимательная, она красноречивее говорила о том, что с ней, чем если бы объяснялась самыми пылкими словами. Она не понимала, как это случилось, и, ожидая его прихода, с ужасом спрашивала себя: я люблю Нахмана? – и со стыдливостью ребенка отвечала: нет, нет.

Когда он приходил, она молча говорила с ним, ссорилась, мирилась, капризничала, будто он ее обожал и не мог жить без ее улыбки. Весь день она проводила дома, стирая белье, – и тяжелый труд, от которого ломило в груди и ныло тело, теперь проходил в пении, в каком-то созерцательном восторге оттого, что вся квартира дышала Нахманом, была для Нахмана, оттого, что Нахман придет вечером и скажет: Мейта, дайте мне умыться, – и она будет слышать, как он плещет водой. Потом, чистый, здоровый, красивый он сядет пить чай, и она ему будет услуживать, а он посмотрит на нее своими большими глазами, в которых она желала бы утонуть.

Она работала, и каждый раз, как птица, которая еще не научилась петь, но уже пробует, – чирикала и замирала:
– Я люблю Нахмана, люблю, люблю.

День пробежал в сладостном ожидании, и минуты, как добрые, уступчивые враги, быстро уходили, чтобы приблизить время его прихода. Он был повсюду, во всех углах стояли тени его фигуры, и она от счастья закрывала глаза, как будто он и в самом деле был здесь и не отрывался от нее. Она целовала его вещи, перебирала их в руках, чтобы упиться радостью тайного общения с ним. Она без конца возилась в его комнате, становилась у окна, заметив его привычку, и старалась глядеть, как он, на стену дома и думать его мыслями. Ей было неприятно все свое: одежда, тело, свои жесты, и она легко претворялась в него. Ходила медленными шагами по комнате и, подражая голосу Нахмана, в странном неосознанном волнении, тихо говорила:

– Нищеты не должно быть, – нужно уметь желать.

И нищета, грозный Бог, без усталости бичующий людей, – образ жестокого хозяина над бессильными рабами, – нищета носилась в трогательных звуках любви. И что-то смирялось в душе Мейты, когда она произносила эти слова.

Лишь только двор засыпал, а огни в квартирах исчезали, она выходила украдкой из комнаты, где спала ее мать, и трепещущими шагами шла к Нахману, который сидел у порога. Как повелитель, открывался он ей. О чем он думал? Косой, синей полосой поднималось звездное небо над стеной дома и нежно и ласково манило ее вдаль.

– Я скажу ему, – и она не знала, о чем хочет сказать, – я скажу ему... Нахман...

Шопот падал подле нее, и она со страхом вздрагивала – Нахман, Нахман! – произнесла ли она это имя?

И убегала в комнату, не смея потревожить его.

Иногда Нахман рассказывал ей о своей жизни, и она, подперев подбородок руками, задумчиво слушала, умиляясь от звуков его голоса, и несмело возражала своим тихим, нерешительным тоном, как бы желая убедить себя, что он прав везде и во всем. Она знала уже о Натане, по котором Нахман часто тосковал, и ревновала его к нему и ко всем. И когда думала, что он может полюбить какую-нибудь другую девушку, то закрывала глаза и мечтала о смерти.

Через несколько дней после того, как Фейга сошлась с Нахманом, Мейта, сидя с ней у порога квартиры Симы, оживленно разговаривала о побеге Неси.

То, что во дворе было темно и серебряные капли звезд смиренно висели над ними, сближало обеих, и казалось им, они всегда оставались сестрами. Из комнаты иногда доносился голос Симы, голос Дины, и была радость оттого, что есть старшие люди, которые за все ответят.

– Я думаю, она вернется, – тихо говорила Мейта, подперев по привычке подбородок руками и кусая свои тонкие пальцы. – Она была странной девушкой, и город ей скоро надоест.

– Меня мучит, – возразила Фейга, – где она может быть? Я тоже люблю город, но в нем тысячи дорог. Когда-то я мечтала о богатом человеке. Он должен был полюбить меня и...

и, какой глупенькой бываешь в четырнадцать лет!

– Я тоже мечтала, – поглядев на небо, произнесла Мейта, – но о городе, о богатстве я никогда не думала. Мать мне рассказывала чудесные истории... Я мечтала о добром человеке. Он должен был быть добрым, Фейга, ослепительно добрым. Я никогда не видела красивой лошади, но его я видела на красивой лошади, и она казалась мне доброй. Я теперь тоже мечтаю, – со вздохом прибавила она, – и если бы не это, я не могла бы работать...

– Неси хотела богатства, – после раздумья проговорила Фейга, – и оттого она нигде не работала, не держалась. Ее принимали за красоту, но она была гордой и всем отказывала. Ей будет трудно жить. Ты еще не знаешь, Мейта, что тебя ждет на фабрике...

– Я умру честной, Фейга, – покраснев ответила Мейта, – клянусь тебе!

– Не думаю, Мейта. Вот я не выдержала, Разве я хотела? Но и тянет и толкает. Посмотри, – нас четверо девушек дома, а три уже испортились. Даже калека Ита не выдержала, а я ведь еще в пятнадцать лет сбросила...

– Правда? – с ужасом вырвалось у Мейты.

– Я и не хотела бы, чтобы это было ложью. Ты дурочка... Я знаю девушек некрасивых, которые готовы год работать даром, лишь бы кто-нибудь захотел их. Это открывает дорогу, Мейта. Разве можно, зарабатывая шесть, восемь рублей в месяц, жить, одеваться, быть сытой?..

Она пересела, чтобы не слышать голоса матери, и тихо шепнула:

– Вот я в пятнадцать лет сбросила, потому что нечаянно забеременела. Но я в тринадцать уже не была девушкой. Как это случилось? Если с тобой еще не было – не спрашивай. Я и сама не могу об этом вспомнить. Ты уже любила, Мейта?

Мейта со страхом посмотрела на нее и, вздрагивая, скороговоркой произнесла:

– Это было страшно, Фейга, это было страшно...

– Ты не отвечаешь, – сердилась Фейга, – а я думала, что Нахман...

Она рассмеялась, вспомнив, как легко овладела им, как он был жаден к поцелуям, и чуть не проговорила.

– Нахман еще не вернулся, – со вздохом произнесла Мейта. – Должно быть, он денег не достал, и ему придется бросить ряды.

– Как ты произносишь его имя, – настаивала Фейга, – может быть, уже началось.

– Когда ты поймешь, мать, – раздался голос Дины, – что означает еврейство, то будешь верить...

– О чем они говорят? – с изумлением спросила Мейта.

– Не слушай, – отрезала девушка. – Еврейское царство... Царство. Я не знаю, как кончу жизнь, – вдруг с грустью выговорила она, и слезы блеснули в ее глазах. – Я живая, Мейта, я живая... Я девушка, а с десяти лет должна была зарабатывать, как мужчина. Царство... Теперь я не девушка, но

это еще не кормит. Скоро совсем придется пойти на улицу, чтобы прокормить мать, калеку Иту...

Мейта, словно кто-то ей угрожал, и нужно было умолить, чтобы ее пощадили, опять шепнула:

– Я умру честной, клянусь!

В темноте обрисовались две фигуры. Фейга всмотрелась в них и сказала:

– Это Фрима с Маней. Вот кого мне жалко. Обе совсем глупенькие и сгорят, как свечи. Особенно Фрима.

Она пошла им навстречу, и когда они встретились, то заговорили. Мейте еще не хотелось уходить, и она осталась ждать.

Теперь ее начинало тревожить глухое беспокойство. Она никогда не думала о себе, уверенная, что ее должна миновать судьба девушек окраины, и не представляла себе возможности своего падения. Она не была жадной, избегала мужчин, страшилась разврата... Но Фейга взволновала ее. Было так, будто ей приснился злой сон о себе, и она знала, что он осуществится.

– Я боюсь чего-то, – думала она, вздрагивая от предчувствия, – чего я боюсь?

Мимо нее быстро прошла семилетняя Блюмочка, и Мейта машинально спросила.

– Куда ты идешь, Блюмочка?

Девочка, не останавливаясь и жмуря глаза от света, шедшего из оконца Симы, певучим голоском ответила:

– Мать меня послала купить кофе. У нее опять сжимается сердце.

Девочка была очень умненькая, очень рассудительная, добренькая, услужливая, и все во дворе, взрослые и дети, крепко любили ее. Она была одна у матери-модистки и без памяти обожала ее. Она улыбалась только тогда, когда мать чувствовала себя хорошо, жалела всех во дворе, понимала значение смерти, и если кто-нибудь умирал, пряталась в комнате, долго рыдала и молилась о здоровье всех людей.

Теперь у матери начался припадок, и она со всеми своими опасениями, детским страхом, мучениями, одна помогала ей.

– У нее сжимается сердце, – торопливо повторила она, – я куплю кофе, лед...

Фейга вернулась с Фримой, и у обеих голоса были веселые, уверенные. Сегодня Фрима в первый раз сошлась с настоящим господином, хорошо одетым, щедрым, и тот ей назначил новое свидание через три дня. Он дал ей два новеньких рубля, и ей казалось, что пуды серебра тянут ее карманы к земле.

– Очень нужно работать! – не стесняясь, громко говорила Фрима. – Где девушка, там хороший охотник. Я куплю себе хорошенькую шляпку, Фейга! Пусть на фабрике работает кто хочет.

Мейта поднялась, почувствовав, что девушкам не до нее, и пошла к себе. Но уже на полдороге замедлила шаги и на-

сторожила. Из ворот несся голос Нахмана...

– Нахман, – радостно подумала она, усаживаясь на пороге, – с кем это он разговаривает?

Прошла долгая минута. Блюмочка уже вернулась, пробежала мимо вприпрыжку и скрылась в одной из квартир.

– Как у меня сердце бьется, – подумала Мейта, – буду думать о другом.

Голоса приближались. Показался Нахман под руку с незнакомым человеком и, увидев Мейту, весело и громко сказал:

– Добрый вечер, Мейта! Посмотрите, кого я привел. Вы не поверите. Это Натан... Со вчерашнего дня меня ищет и лишь к вечеру нашел в рядах.

Девочка растерялась от неожиданности и, не соображая, пробормотала:

– Натан, какой Натан?

– Товарищ мой, Мейта, – солдат. Разве вы не помните? Посмотрите на него! Вот он Натан, Натан...

Он говорил радостным голосом, был возбужден, но Мейте в его тоне слышалась печаль.

– Зайдите, – произнесла она, все еще не имея возможности опомниться, – вы мне после расскажете. Не разбудить ли мать?

– Нет, нет, – попросил Натан, – никого не нужно беспокоить.

Мейта быстро оглянулась на него, и в душе ее сразу уста-

новилося разочарование. Она успела рассмотреть его, и ничего похожего на то, что представляла себе, не было в нем. Он был худой, с плоскими плечами, обросший бородой и держался сгорбившись. Говорил хриплым шепотом и употреблял усилия, чтобы его слышно было.

– Он болен, – промелькнуло у Мейты.

Она побежала в комнату Нахмана, зажгла лампу, а когда оба вошли, снова оглядела его и чуть не всплеснула руками. Здесь, при свете, худоба Натана казалась ужасной. В лице не было кровинки. Глаза с длинными ресницами, смягчавшими взгляд, лихорадочно блестели, а черная курчавая борода, плохо заполнявшая худые щеки, выдвигала вперед, как тупые острия, обе челюсти.

– Он долго не проживет, – с жалостью подумала Мейта, не смея заговорить.

Натан вдруг закашлялся.

Сначала тихо, будто был уверен, что сейчас пройдет; потом сильнее, – покраснел, посинел, и звук был такой, как если бы дули в отверстие ключа; потом, судорожно дрожа всем телом, он уперся кулаками в колени и, иногда детски улыбаясь, с усилием произносил:

– Подождите, я сейчас перестану.

И опять кашлял мучительно, страшно. Нахман в волнении стал ходить по комнате и, чувствуя на себе взгляд Мейты, каждый раз оборачивался и печально качал головой. Когда же смотрел на Натана, – без силы улыбался ему.

– Теперь дайте мне воды, – устало произнес Натан, вытирая пот с лица.

Мейта вышла, а Натан тонко, точно знал тайну и не хотел ее выдать, сказал:

– Сколько мне еще осталось жить?

– Садись, садись, – жалостно проговорил Нахман. – Что они с тобой сделали?

– Не будем говорить об этом, Нахман. Меня замучили, но я прошел хорошую школу... Теперь у меня такое богатство, что я не отдал бы его за время, которое мне осталось жить. Я смирился, Нахман, я понял...

Вошла Мейта с водой, и он оборвался. Нахман опять стал ходить.

Натан оглядывал комнату и долго останавливался на каждом предмете. Потом внимательно посмотрел на Мейту.

– Ты хорошо устроился, Нахман, – тихо сказал он, – никогда не поверил бы...

Мейта, сидя в стороне, жадно смотрела на Натана, стараясь отыскать на этом замученном, изможденном лице все то прекрасное, о котором с такой любовью рассказывал Нахман. Постепенно она начинала привыкать к звукам его голоса, и что-то ласкающее, что-то близкое своему сердцу уже слышалось ей в нем.

– Я о себе расскажу позже, – отозвался Нахман, – это так немного, так мало хорошего я могу рассказать, – прибавил он, покраснев.

И в наступившем молчании странно прозвучали его слова.

– Хотел бы смириться, Натан.

В его тоне звучала тоска, растерянность. На себя он брал вину в побеге Неси, и невыносимо было вспомнить, как легко он пал, когда Фейга поманила его. Казалось ему, что Натан перевалил уже большую гору, и тяжело было признаться, что сам он еще совершает мучительный подъем.

– Я прошел школу, – сказал Натан, – я хорошо страдал. И если бы можно было показать душу после страдания, какая она чистая, светлая, – всякий благословил бы страдание. Дай мне чаю, Нахман...

В его глазах стояло что-то упрямое, будто в руках он держал сокровище, которое нашел, и его хотели отнять. Нахман сделал знак Мейте, и когда она вышла, оба сидели молча.

Девушка скоро вернулась с кипятком, приготовила чай, разлила в стаканы, дала Натану, Нахману и опять уселась в стороне.

– Я хотела спросить, – тихо сказала она, – разве люди не всегда мучатся от страданий? – Она сделала жест. – Вот здесь есть девушка... Фейга... Она мученица.

Нахман оглянулся на Мейту. Как будто тень прошла мимо и заслонила ее.

– Я поговорю с ней, – подумал Нахман.

– Люди мучатся от страданий, – ответил Натан, – я знаю. Но виноваты в этом люди, Мейта, а не страдания...

– Я не понимаю, – перебил Нахман.

– Дайте мне еще чаю... В этой жизни, Нахман, нужно устроиться так, чтобы полюбить страдания, – в этом спасение. Надо делать их приятными. Вы оглянитесь, Мейта! – Он поднял обе руки и так держал их. – Жизнь ведь одно страдание, и необходимо сделать из него наслаждение. Если бы люди уже могли...

У Мейты завертелось в голове. Как будто Натан открыл дверь в новый мир, и она заглянула в него. Как ясны были теперь слова Фейги! Страдание она превратила в радость, из позора и обид она сделала украшение.

– Я понимаю вас, – с увлечением произнесла она. – Я верю, я верю... – Она начинала, обрывалась... Как хороша она была теперь в своем волнении! Свет от лампочки делал ее всю золотистой, и в этом подвижном золоте, точно в оправе, как что-то отдельное, живое, переливались блестящие восторгом глаза.

– Не понимаю, – повторил Нахман, – когда больно, то больно, и к этому не привыкнешь.

Ему становилось досадно, неприятно. Лишь вчера он был у Хаима и насмотрелся таких ужасов, что теперь казалось позором слушать Натана. А Натан, как человек, познавший истину и пожелавший отдать ее другому, сердечно говорил!

– Ты сердисься, Нахман, я вижу. И мне как будто стыдно перед тобой. Но я понял... Зачем бороться, биться, когда страдание неизбежно?

Он замолчал.

Нахману стало грустно. Опять сидел прежний Натан, ласковый, нежный, с милыми жестами... Во дворе бродила тишина, пустая, бесстрастная, безнадежная. Люди без тревоги спали после дня трудов и мучений, и мнилось что-то освященное в этой ночной покорности, когда они запасались силами для бесцельных страданий. Чего еще хотел Натан? Разве в окраине не вконец искалечили себя, чтобы не бороться?

– Мне не нравится все, что ты говоришь, – произнес Нахман после молчания, – я теряюсь...

– Нужно пройти школу, – с силой возразил Натан. – Какая цель жизни? Быть сытым? Это ужасно, Нахман... Страдание вечно, претворим его в радость. Сложим руки, пусть бьют нас по щекам.

– Мне страшно слушать тебя, – с испугом проговорил Нахман, глядя в его возбужденное лицо. – Перестанем говорить об этом.

– Мне страшно, – прошептала Мейта про себя.

– Перестанем, – согласился Натан, – но я нашел утешение, я смирился, я счастлив... Я был единственный еврей в полку, один среди врагов... Меня били, истязали – я наслаждался. У меня болело тело, кружилась голова, надо мною издевались... Но душа моя грелась, как у теплого очага... Я сказал себе: страдание вечно, нужно уметь претворить его в радость.

Он встал и заходил по комнате. Нахман, опустив голову,

слушал и уже не разбирался, прав ли Натан, и хотя сердце его кричало: нет, но восхищенная душа просила покориться.

– Выйдем, – произнес Натан, – я задыхаюсь.

Они вышли и уселись на пороге. Мейта осталась в комнате, иногда засыпала, грезила, пробуждалась, и ей сладко было слушать неумолкавшие голоса.

Теперь Натан вспоминал и тихим голосом рассказывал о своей поездке в полк. Как живые вырастали солдатские вагоны, переполненные пьяными новобранцами, которые веселились так, словно солдатство являлось давно желанным исходом от тяжелого существования. Ужасно было первое утро в казарме, первая мысль о полной незащитности. Ужасна была бесцельная, бессмысленная работа с рассвета до ночи, побои, насмешки, презрение...

– Довольно, – попросил Нахман, – я свалился бы гораздо скорее тебя...

– Теперь мне дали чистую отставку, – усмехнулся Натан.

Оба замолчали и долго глядели на луну. Она шла тихо, тихо по небу и как бы передвигала тени на земле, чтобы ей удобно было видеть все, что внизу. Но что-то бесконечно доброе лежало на ее круглом лице, в ее человеческой улыбке. И только темная кайма губ была искривлена набок, как будто от сострадания.

– Поговорим о тебе, – произнес Натан, – я конченный человек... Завтра пойду в больницу, может быть, навсегда. Странно, – вдруг выговорил он, – как далеки наши мечты.

Помнишь вечера на «том» дворе?

– Да, да, – подхватил Нахман, обрадованный этим вопросом, – я и сам не понимаю, что произошло с нами. Я теряюсь Натан... Я спрашиваю себя: чего я хочу? Может быть, я знаю... но как сделать? Не знаю, Натан, не знаю. Столько загадок кругом... Меня окружают горы людей, мне тяжело их носить...

– Горы людей, – шепотом повторил Натан.

– Да, да, горы. Вот видишь этот двор? Ступай из комнаты в комнату, ты услышишь все стоны, какие может издать человек. Ступай из дома в дом, ты услышишь худшее. Я весь день с ними, весь день, Натан!..

Он замолчал подавленный. Как будто ток прошел между обоими и соединил их.

– Нахман! – тихо произнес Натан.

– Что Натан?

– Смерть лучше жизни. Клянусь тебе!..

Мейта показала на пороге и громко сказала:

– Ему пора спать, Нахман. Я все приготовила в комнате.

– Хорошо, хорошо, – засуетился Натан, – я падаю с ног.

– Я еще посижу, Натан. Мейта тебе покажет, где лечь.

Спокойной ночи!

Натан скрылся в комнате; Нахман остался один и в скорбном недоумении сидел, опустив голову на руки.

Шорох раздался сзади него.

– Это вы, Мейта? – произнес он, не оборачиваясь.

– Да я, Нахман. Натан уже спит.

– Сядьте возле меня... Что вы думаете о нем?

– Я думаю, что он не будет жить.

– Не будет жить, – с сожалением повторил он, будто хоронил что-то родное.

– Он хороший, Нахман, хороший, дорогой...

– Если спрашиваешь, и нет ответа, – не слушая, произнес

Нахман, – нужно погибнуть.

Он замолчал, смутно чувствуя, что с ним происходит что-то важное.

Мейта сидела рядом и тихо дрожала от его близости. Она не смела взглянуть на него, но чувствовала его всего, как будто держала на руках и прижимала к сердцу. И словно ждала одного слова, чтобы предаться ему.

– Вы говорили с Фейгой? – опять раздался его голос.

– Я говорила, Нахман. Она мученица...

– Ну да, – с усилием проговорил он, – мы все тут похожи на людей, которые стоят у высокой стеклянной стены и хотят взобраться на нее. Знаете, – жена Хаима умирает...

Она близко придвинулась к нему, испугавшись мысли о смерти, и он стал ей рассказывать о несчастной женщине. И оттого, что она почувствовала теплоту его плеч, прижимавшихся к ней, – у нее закружилась голова.

– Нахман! – замирая, шепнула она.

Он живо обернулся к ней и, кивая головой, как будто говорил: нет, со страхом ждал.

– Нахман, Нахман! – повторила она...

– Ты еще не спишь? – неожиданно раздался подле них голос Чарны.

Девушка испуганно вскрикнула, а Нахман сердечно сказал:

– Мейта...

– Ложись, моя кошечка, – с нежностью просила Чарна, – ночь уже побледнела, а подняться нужно рано. Ложись, моя работница.

Мейта покорно встала и скрылась с матерью в комнате. А Нахман еще долго сидел, думал о Натане, о Мейте... о людях, и с лица его не сходило скорбное недоумение...

Рассветало...

8

Понадобился целый месяц хлопот и тревог, чтобы поместить Натана в больницу. На дворе уже стояла глубокая осень, – больница была переполнена больными, и только благодаря Шлойме, который был знаком с больничным фельдшером, удалось устранить все преграды.

В рядах, не умолкая, раздавался сдержанный стон, и мучительным кошмаром протекало время; страшная осень требовала напряжения всех сил, чтобы не свалиться. Те первые дни опьянения собственностью, когда Нахману все казалось гладким впереди и можно было полноправно распоряжаться своей жизнью, своим досугом, своими желаниями, – те дни скоро прошли. И то, что собственные деньги давно разошлись, а товар всегда нужно было покупать в кредит, постепенно превратило его в истинного торговца, запутанного, замученного... В рядах между тем пропали звонкие голоса, пропали люди, радость оживления, и торговцы в своих теплых рваных одеждах сидели теперь нахохлившись, как хмурые птицы. И когда начинало дождить, ничего несчастнее, беспомощнее этих людей нельзя было себе представить. Они бегали вокруг своих корзин, торопливо, с испуганными лицами, издавая стоны отчаяния, защищали их огромными дырявыми зонтиками, сами прятались в подворотнях, в лавках, если им разрешали, и, глядя на них, казалось странным,

непонятным, почему другие люди могли сидеть в своих теплых сухих комнатах, могли без ужаса и страха ходить по своим делам, а эти должны были оставаться здесь и бороться с природой. Понять невозможно было, почему так кротко они переносили свою судьбу?

Самое ужасное в их существовании было то, что всегда, во всякую минуту, нужно было оставаться во вражде друг с другом. Изнемогая от невидного им рабства, они яростно боролись между собой, и каждый безжалостно желал другому зла, лишь бы чуточку подняться на его счет. Они вырывали покупателя друг у друга, хвалились таким умением, перед способным дрожали и преклонялись, и, погруженные в ничтожество, связывали свои отношения такими жалкими интересами, что охватывало отчаяние за собственное сочувствие их страданиям. С какой легкостью они забывали тяжелые минуты, свое подневолье, свою незащитность!.. И хотелось проклясть этих несчастных уродов, как кошки беспмятных, в которых ничто, – ни обиды, ни горе, ни гнев не могли накопиться до взрыва. Они жили, как животные, настоящей минутой смеха или плача и были совершенным человеческим тестом, из которого выходили великолепные рабы.

Нахман, любя, ненавидел их...

Они дрожали перед всем, боялись всякого, кто был выше их положением, с отвратительным раболепием гнулись их спины, и без слов они отдали бы все, что было в корзинах,

если бы этого серьезно потребовали. В ежедневной борьбе на улице, где каждая минута требовала защиты самых ничтожных прав, – только один способ, могущественный и низкий, они признавали. Это был выкуп. Что бы ни произошло, они знали одно – нужно заплатить.

Нахман ненавидел их. Он любил их со всей силой товарища по несчастью, по жизни, и вся жалость, все его сердце, залитое теплой кровью сочувствия, было на их стороне, – но все же он ненавидел их, как ненавидят несчастного брата, виновника своего страдания. И лишь теперь, когда осень ударила всей силой своих мокрых холодных дней, своей грязью, которую она невесть откуда приносила, всеми ужасами затишья в торговле и голодовки, и крепкая болезнь бедноты повалила всех торговцев, – когда он увидел, что происходило теперь в домах окраины, где сотни семей притихли в ожидании мучительных дней, – лишь теперь его ненависть к ним пропала.

– Они не выдержат, – говорил он Даниэлю в минуты отчаяния, – а ведь зима еще впереди.

Даниэль мотал головой и, тихо покашливая, задумчиво отвечал:

– Мы выдержали тысячелетия рабства, Нахман. Что такое одна осень, когда вся наша жизнь сама осень?..

С Даниэлем Нахман все больше сближался, и с тех пор, как он начал бывать у него, они стали добрыми друзьями. Даниэля Нахман легко полюбил. Тот был чистый, увлекающий-

ся человек, сердечный, влюбленный в своих детей, в свою жену, и с того момента, как отдался сионизму, еще светлее, лучше стала его душа. Он жил теперь так, будто случайно попал на станцию и с минуты на минуту ждал поезда, который должен был отвезти его в святую землю. Детей он начал воспитывать, как будущих граждан еврейского царства, и Мойшеле, восьмилетний мальчик, как и Лейбочка были посвящены во все тайны дорогой мечты. Словно в стане врагов, – он напрягал все понимание, чтобы беды евреев объяснить жизнью в изгнании, и милой лаской звучал его голос, когда он говорил о грядущем исходе.

Иногда Нахман приходил к нему с Натаном, с Мейтой, иногда со Шлоймой, и длинные вечера проходили в разговорах о делах, об общих бедствиях евреев, о родине, и каждый раз все теснее сближались.

Мейта переживала первый праздник дружбы с новыми людьми, и Нахман невольно поддавался чарам ее восторга. Она не бросалась ему в глаза, но в каждую минуту, проведенную дома, он чувствовал ее ласковое присутствие, чувствовал ее нежные глаза, которые следили за ним, и всю радость, таинственность этой любви оба пережили молча. Он уже легко открывался ей, и она узнавала по его глазам, когда он тосковал. И тогда она исчезала, как тень, чтобы не мешать ему, уверенная, что он позовет ее, если можно будет. И когда он звал ее, она развлекала его своими наивными разговорами и мечтала при нем вслух.

Все ярче раскрывалась ее красивая душа... Она говорила ему о людях, могущественных, добрых, которые явятся в окраину и сделают жизнь нетрудной... Но, описывая могущественных людей, она невольно рисовала Нахмана, и любовь к нему прорывалась в каждом ее слове.

– Он будет добрым, Нахман, – рассказывала она, подперев подбородок руками и кусая пальцы, – ослепительно добрым...

Нахман чувствовал ее томление, и это вызывало в нем образ Неси, который преследовал его, как живой. Он вспоминал последние минуты свидания с ней, и все очарование от Мейты пропадало. Как статуя смеха, как символ радости, стояла Неси перед его глазами, и губы ее роняли восторженные слова о городе...

Точно это было вчера, он вспомнил, как шел и просил ее, а она не отвечала ему. Он ее спрашивал: почему, Неси, о не молчи, – а она уходила, как из стали, упрямая...

Когда он случайно узнал от Шлоймы, что Неси приезжала к матери и оставила ей денег, он ушел на весь вечер в город и до поздней ночи бродил по улицам, мечтая встретить ее и убить. Как безумный, углубленный в свое желание, он проходил мимо богатых домов и, заглядывая в освещенный окна, грозил кулаками. И дома он долго потом сидел неподвижно, а на вопросы Мейты с мольбой отвечал:

– Уйдите, Мейта! Мне ничего больше не нужно... Будьте доброй девушкой! Мне ничего больше не нужно...

Но дни шли, шли, и снова Мейта находила путь к его сердцу. Даже тот ужас и отвращение, которые он испытывал при воспоминании о Фейге, перестали пугать его, и теперь он уже без страха глядел девушке в глаза и слушал ее насмешливые слова.

– Вы меня ненавидите, Нахман? Почему? Но... идите своей дорогой.

Внутренняя жизнь, однако, не покрывала надвигавшейся осенней беды, и когда Нахман не уплатил в двух лавках к сроку, кредит его пропал.

– Я думаю, – сказал он Даниэлю, которому только что сообщил эту печальную весть, – нам скоро придется бросить дело. Я делал ошибку с самого начала.

– Я такого года не припомню, – ответил Даниэль.

– Не говорите, Даниэль, я сам виноват. Торговать в рядах нужно уметь. Шлойма предупреждал меня...

Он вспомнил о первых днях, о том, как постепенно охватывала его жажда собственности, как любил свой товар, и мечтательно сказал:

– В этом, Даниэль, было очень хорошее... но торговать в рядах все-таки нужно уметь...

– Не мы одни пропадем, – мрачно сказал Даниэль.

– Что же мы зимой будем делать?

– Перестаньте, Нахман, спрашивать, – до зимы, может быть, еще и не доживем.

Оба стали хмурыми. Но часам к трем торговля поправи-

лась, и Нахман повеселел.

– Вот видите, – сказал он, – сколько мы выручили... Поборемся еще. Теперь пойду за товаром... на наличные.

Вечером, возвращаясь домой, Даниэль предложил Нахману зайти к нему: будет Дина с женихом, сапожником Лейзером, старик Эзра сапожник, столяр Файвель с женой...

– Я приду, – сказал Нахман, кивнув головой. – Может быть, и Мейту приведу.

Они расстались, а Нахман, все возбужденный и довольный, лишь только зашел в комнату, сейчас же сказал:

– Собирайтесь, Мейта! Мы сейчас пойдем к Даниэлю. Вот только поужинаем.

Он наскоро поел, между тем как Мейта переодевалась, и когда ночь совсем наступила, оба отправились.

Мейту встретила жена Даниэля и посадила ее между собой и дочерью Симы, Диной.

Даниэль перехватил Нахмана и повел его к мужчинам.

– Ну, вот и хорошо, – проговорил он, похлопывая его по плечу, – я думал, что вы уже не придете.

Нахман оглянулся и поздоровался с сидевшими: со стариком Эзрой, человеком лет под пятьдесят, с большими глазами и короткой, седой бородой; с женихом Дины, сапожником Лейзером, и с маклером Перецом. Маленького Мойшеле, не сводившего глаз с Дины, он погладил по щеке.

– Стакан чаю, – говорил Даниэль, довольный обществом, которое его окружало, – не будет лишним после холода. Что

вы ответите, Нахман? Мойшеле, работай! Налей и для Мейты, – она наверное не откажется.

Он засмеялся, а Мейта, неизвестно отчего, покраснела и ответила:

– Благодарю вас, Даниэль, мне и так хорошо.

– Ничего, Мойшеле, – настаивал Даниэль, – можешь налить: оба выпьют.

Маклер Перец, старый человек с печальными глазами и трясущейся головой, подобострастно слушавший до сих пор Эзру, громко сказал:

– Продолжайте, Эзра! Когда слушаешь вас, – забываешь о своих делах.

Он оттянул свой длинный, заплатаанный сюртук, и голова его начала трястись, словно он тайно кому-то кланялся.

Опять, как до прихода Нахмана, наступила приятная тишина. Эзра, мигая больными глазами, спокойно заговорил, и все придвинулись, чтобы лучше его услышать.

– ... Так я сказал, – начал он, взглянув на Мейту, – что нам нужно пойти домой. Самый приятный гость начинает надоедать, если засидится. Вот как я понимаю. Это и не криво и не прямо, и не длинно и не коротко. Это ясно: нужно пойти домой. Я человек маленький, но голова у меня не узенькая. Я знаю одно: нужно пойти домой.

– Нужно пойти домой, – подтвердил Перец и стал долго кланяться.

– Что мне здесь нужно? – спросил Эзра с удивлением. –

Что вам здесь нужно? – обратился он к Нахману. – Может быть, вы знаете? А вам, Даниэль? Я думаю, и Мойшеле здесь ничего не нужно. Пойдем домой...

– Для чего? – произнес Нахман, поставив стакан на стол; и все посмотрели в его сторону, а Даниэль замахал в волнении руками.

– Но вы пес с ушами, как я Даниэль, – горячо сказал он, – если спрашиваете. Хороший вопрос... Можно думать, что вы здесь в меде купаетесь.

– Не купаюсь, – возразил Нахман, взглянув на Эзру, – но кому хорошо?

– Всем хорошо, но не нам, – сердито проговорил Лейзер. – Вы слепец.

– Вы не еврей, – произнесла Дина, встав со своего места и подходя к нему. – Тот, в ком течет хоть одна капля еврейской крови, чувствует наше рабство. Вы не еврей...

Она стояла, бледная от гнева, возмущенная до глубины совести этим чужим человеком, которого нужно было считать своим... Не в первый раз она слышала его речи...

С тех пор, как Дина прониклась идеей освобождения народа, ее жизнь превратилась в подвижничество. Она была темной, безграмотной, но национальное чувство творило чудеса. Она начала учиться, и трогательно было видеть, как по ночам, после трудового дня в мастерской портных, она отдавалась занятиям. Ее заветной мечтой была поездка на родину, где хотела зажить крестьянской жизнью, и из двенадцати

ти рублей жалованья часть она откладывала на поездку, рассчитав, что за пять лет соберет нужную сумму. Жених Лейзер, ее же ученик, смотрел на все глазами девушки и считал Дину героиней. Она дрожала, как от пощечины, когда затрагивали ее национальное чувство, и в каждом еврее, еще не сознавшем своей обязанности перед народом, она видела раба, изменника и ненавидела его больше, чем чужих врагов.

Нахман, закрыв глаза, слушал ее, и ему казалось, что его бьют...

Если бы он обладал ее верой! Как она произносила: еврей. Еврей! Это звучало, как укор, как нежный призыв. Был ли он евреем? Чем заполнить это ясное и такое непонятное слово, чтобы задрожать от радости и гордости?

– Но я еврей, – громко сказал он, – и все-таки не понимаю, почему нужно уйти отсюда? Не сердитесь, – подхватил он, предупреждая ее жестокий ответ, – я вижу, как худо нам живется, но ведь и другим не лучше.

– «Там» наши поля запущены, – перебил его Даниэль...

– Наши дома разрушены, – подхватил Перец...

– Мы пойдем домой, – выговорил Эзра с волнением. – Я человек маленький, но голова у меня не узенькая, и знаю, что Моисей дал нам страну и сказал: живите в ней. Спрашиваю, как, имея свою родину, свой народ, работать на чужой земле, отдавать все силы чужому народу? Я не хочу многого. Я люблю свой народ, свою страну. У меня крепкое чувство, и хочу, чтобы у всех евреев было крепкое чувство, и они могли

сказать, как я: пойдём домой... Я работаю в нашем кружке... Нужны деньги, деньги и деньги для великого дня. Я собираю их среди наших по копейке, – мы ведь не богачи, – и человеческую радость я испытываю в тот день, когда соберу рубль для фонда. Ведь каждая копейка идет на покупку земли в нашей стране. Вы слышите, – земли на копейку, но это будет наша земля, откуда нас уже нельзя будет согнать.

Даниэль кивал головой, и в глазах его стояли слезы. Какая дивная мечта улыбалась ему!.. Земли только на копейку. Но он не взял бы всех дворцов в этом городе за землю на копейку, где его народ будет отдыхать от тысячелетних мук.

– У Мойшеле, – выговорил он с волнением, указывая на мальчика, – уже есть марок на целый рубль.

– У меня будет марок на много рублей, – убежденно сказал мальчик, не сводя глаз с Даниэля. – Мы выкупим нашу страну.

– Кто наш вождь? – в восторге спросил Даниэль, мигнув Эзре.

– Герцль, – ответил мальчик.

– Ты любишь Герцля?

– Я его люблю, как Мессию. Он наш освободитель.

– Так, так – кивая головой, говорил Даниэль, растроганный, – мы все его любим. Герцль! Как хорошо это звучит. Как удары сердца оно звучит. Герцль! Надежда народа...

Нахман сидел, опустив голову и не поднимая глаз. Что-то, похожее на стыд, грызло его душу, и все-таки он чувствовал,

что не убеждается.

– Это меня трогает до слез, – откровенно сказал он, обращаясь к Дине, – но ведь каждый камень здесь на улице кричит мне: ты мой, ты мой. Выслушайте меня. Я ведь не враг. Я хочу хлеба для народа, вы посыпаете камень сахаром и говорите: возьми, вот это его накормит. Но народ хочет хлеба, свободы.

Мейта смотрела на него, и по ее глазам он не мог теперь разобрать: одобряет ли она его, или осуждает. Он многое хотел сказать, но мысль не претворялась в ясные слова, ясные истины, который убедили бы его самого. Евреи страдают в чужой стране, отчего же не меньше страдают те, кому страна принадлежит? Ведь он это видел на каждом шагу, знал с раннего детства...

Мейта сидела задумчиво, прислушиваясь к спору, и чудное волнение и страстные порывы колебали ее душу. Родина! Она не в первый раз слыхала о ней, и Эзра вызывал своими словами слезы обиды, слезы радости. Что-то мощное, светлое выросло на ее глазах, и было оно такое ласковое, родное, что от него, как от матери, нельзя было отвернуться. Оно сияло еще вдали, но уже будило в ней тысячи трогательных настроений, которые к чему-то привязывали, о чем-то заставляли жалеть, вздыхать. И она сидела, вся во власти этих новых, милых чувств и, думая о Нахмане, спрашивала себя: прав ли он, или не прав? Эзра мигал глазами, пытался говорить, а Даниэль и Лейзер перебивали его, не желая ему

уступить чести возразить Нахману. Но уже несся голос Дины, и среди шума он повелительно требовал;

– Дайте мне сказать, – вы должны мне дать ответить!

И все замолчали от ее голоса, а она громко спросила: почему?

Как будто лавина шла на Нахмана, так смотрел он на девушку.

А она стояла уже перед ним, как; человек, привыкший говорить, и, с негодованием глядя на него, еще раз повторила: почему, почему?

– Только тот, – страстно произнесла она, – кто изменил родине в сердце своем, может спросить «почему». Я не скажу: вот гнет, под которым мы живем, вот ненависть, которая нас окружает. Есть худшее горе: дух народа упал. Нам не нужно довольства, мы и там будем страдать, но только на родине оживет и снова расцветет душа народа. Никто не плачет, когда говорят: мы на чужбине! Подобно обезьянам, мы переняли чужую жизнь... Мы потеряли собственное лицо, мы стали покорившимися рабами. Есть ли среди нас, кто пожертвовал бы своей жизнью для народа? Где наши герои? Чужбина развратила нас, и сердце наше спокойно бьется, когда мы говорим: евреи, родина. Мы стали мелочны, трусливы, равнодушны, наши спины гнутся, будто мы всегда ходили сгорбившись... Дух народа в рабстве понизился. Так уйдем же отсюда! Уйдем для спасения народа, для спасения его духа и всего, что дало и еще даст еврейство... Дорогу наро-

ду!..

Все слушали, затаив дыхание, и переживали высокое страдание о потерянной красоте народа.

И страстно хотелось немедленно напрячь все силы, зажечь душу героизмом, чтобы совершить спасение народа – духа, который согнулся и грозит упасть.

– Мы пойдем домой, – раздался взволнованный голос Эзы.

– Молчите, – сдавленно крикнул Даниэль, – о, молчите!

– Вы спрашиваете, почему? – продолжала Дина. – Но разве есть мука глубже, когда видишь эту жизнь великого народа, который дал миру столько сердец, столько умов?.. Кругом текут реки, – нам не дают напиться из них. Нам не дают жить, действовать, дышать. Нас душат со всех сторон, и все жестокое, на что способна злая ненависть, падает на нас. Нас гонят, нас запирают, нас бьют... Нас бьют! Вы спрашиваете, почему? Позор тому, кто задает такой вопрос. Позор, стыд...

Она горела на глазах. Она звенела, переживая святой гнев за унижение великого народа, и всем в комнате хотелось пасть на колени перед этой девушкой и целовать ей руки, платье... Все как бы собралось в одном жгучем слове «евреи», и оно зазвучало, как триумф, как победа над сердцем. И, словно молния, оно выжигало в сознании кровавые столетия унижений, бедствий, позора... Евреи, – могучее созвучие, оно вызывало взрывы восторга, чудные слезы благоговения. Евреи! Это была своя кровь, свои замученные ду-

ши, которые томились в раскаленном кольце... И Дина, Лейзер, Даниэль, Эзра, и даже Нахман – все, как живые родственники, пробивали себе выход из-под земли замученного народа, требовали разрешения... Евреи были повсюду, окружали со всех сторон, и будто тысячи уставших рук простирались к ним, – каждый здесь в комнате давал свой ответ.

– Вы слышите, Нахман, – говорил Даниэль, вытянувшись во весь рост. – Возражать не нужно. Я умоляю вас. Это высоко, как самая маленькая звезда, и это близко, как собственное сердце. Нужно закрыть уста и улыбнуться. Нужно улыбнуться и раскрыть объятия. Нужно раскрыть объятия и заплакать от радости. Вы чувствуете, Нахман? Если нет – положите голову под крыло. Вера придет...

Он говорил уже непонятным языком, но обнаженность его души вызывала сочувствие. Теперь он стоял, склонив голову набок, и нежно улыбался, прищуriv глаза.

Наступила тишина, – и в тишине этой происходило высоко человеческое, важное... Работали души, переживая победную радость единения одного с миллионами, и так шло время.

– Ну вот, – вздохнув, произнес Лейзер, – мы и вернулись. Как тяжело каждый раз, когда просыпаешься и все находишь себя здесь!..

Он стал говорить меланхолическим голосом о том, как страдает здесь, на чужбине, и тяжело было слушать эти яркие слова о тоске.

Он не выносил воздуха чужбины, и ему казалось, что он дышит отравой, и болеет...

– Я и сам не знаю, что со мной, – рассказывал он, и все слушали, опустив головы. – Я тоскую. Я как будто давно ушел из дому и хочу туда. Я работаю и говорю себе: родина, – вот что меня держит.

Нахман встал. Словно укор чему-то решенному в его душе казались эти люди, и он не мог больше оставаться с ними.

– Я не чувствую, – произнес он громко. – Я не чувствую, – повторил он в отчаянии. – Я готов заплакать от ваших слов, но все же моя кровь смешалась с землей чужбины... Я хочу счастья, – но здесь.

– Вы не еврей! – резко оборвала его Дина.

– Вы не еврей! – с ненавистью повторил Лейзер.

– Уже поздно, – уныло произнес Нахман вместо ответа. – Вы идете, Мейта?

Он начал искать свою шляпу, а Даниэль, помогая ему, тихо говорил.

– Не огорчайтесь, Нахман. Вы или он, – это все равно. Вы – один сын, он – другой. Не огорчайтесь, прошу вас, – мне это больно.

– Ничего, Даниэль... Я ведь все-таки чувствую себя правым.

Мейта уже ждала его. Нахман простился с каждым отдельно, и оба вышли. Двор был темный, и оттого, что падал дождь и ноги увязали в грязи, Нахман и Мейта подвигались,

держась за руки. На улице пахнуло ветром.

Впереди них шли люди, и, казалось, они понурились и от отчаяния не хотели чувствовать ни ветра, ни своей жизни, ни бессцельности того, что их окружало, что их поджидало. И дождь как будто безнадежно звенел над ними.

– Вы молчите? – тихо проговорил Нахман.

Они все не разнимали рук, словно боялись потерять что-то дорогое, важное, которое было так нужно теперь в темноте, в одиночестве...

– Мне трудно рассказать, Нахман, но там я чувствовала так, будто передо мною раскрылось небо!..

Она не хотела выдать всей своей мысли и нахмурилась.

– Я не знала, что я еврейка, – задумчиво выговорила она. – Еврейка, Нахман? Ведь это совсем другое. И нас мучат? Евреев мучат.

И точно лишь теперь поняв смысл этих слов, она с недоумением спросила:

– За что нас мучат, Нахман?

Оба шли, задумавшись над вопросом, и дождь безнадежно звенел им в ответ. Как со сна, они вспоминали рассказы об ужасах гонений, вставляли легенды, никому не рассказанные, – годы бедствий, избиений, и, как первый лепет ребенка, у обоих зарождался один вопрос:

– Почему нас бьют, Нахман?

– Почему нас бьют, Мейта?

Они углубились в самое сердце окраины, и от огоньков в

квартирках шла такая тоска, будто мертвецов освещали они. И все кругом, – и широкие, потонувшие в грязи улицы, и оголенные деревья, и убогие дома были полны такой тоски, что, казалось, и они, как живые, здесь молча молили, чтобы их убрали куда-нибудь, где лучше...

– Еврейка, – вспоминала Мейта, робко прижимаясь к Нахману. – Какая радость в этом слове! Мы евреи. Вы еврей, Нахман, еврей!..

Она как бы упивалась словом. Она произносила его громко, и понизив голос, и шепотом, и было так, как будто она влюблялась во что-то хорошее и любовалась им.

Ей стыдно было сознаться, но она замирала от счастья при мысли, что евреев мучат. Словно до сих пор от нее требовали жертвы, подвига, она не знала какого, а теперь ей сказали.

Евреев мучат... она будет еврейкой. Ее будут истязать, гнать, – она будет еврейкой.

Над ней будут издеваться, она не опустит глаз перед врагом и смело скажет: я еврейка. Ей хотелось сейчас же всех пыток, придуманных для мучений, и до боли сжималось сердце за то, что она еще не потерпела.

– От этого кружится голова, – говорил Нахман, но не нужно опьяняться. Наша родина здесь. Сила не в бегстве, а в борьбе!

Он радостно оглянулся, и крепкая любовь звучала в его голосе, когда он сказал:

– Вы видите небо, Мейта, – оно черное. Но это черное

небо я люблю больше солнца, которое светит «там»... Пройдет ночь, и наступит день. Но день будет здесь, где мы столько страдали, где победим... Мы должны победить, Мейта! Народ не всегда бывает игрушкой...

– Отчего же мое сердце так бьется? – возразила Мейта. – Я горю и готова пойти на костер.

– И я готов, Мейта, но нужно знать, где он. Если бы я уже знал... – Тоска, давно сдерживаемая, и прорвавшееся страдание души послышались в его словах...

Дождь безнадежно звенел... Он звенел сзади, впереди, догонял, обгонял и будто преследовал, чтобы погасить мечту.

Он звенел безнадежно...

9

Теперь Мейта проводила дни, как во сне. Время ее по-прежнему проходило в труде, но в душе она переживала что-то нежное, блестящее, и минуты проходили, сотканые из порывов. Она просыпалась с улыбкой, улыбалась комнате, двору, и все милые образы, которые были ей так дороги, целый день окружали ее.

Казалось ей, – лишь только она скажет Нахману о своей любви к нему, и он ответит ей тем же, протянутся нити к родине, к Дине, и сотворится мост для перехода евреев на родину, где они будут счастливы и свободны.

Все девушки превратятся в работниц, рассыплются по полям, и жизнь станет пляской радости. Каким-то непостижимым чудом все, что она переживала, претворялось в любовь, и как в реке нельзя отличить образовавшие ее воды, так и она не знала теперь, какой любовью любит Нахмана, какой родину, Дину...

К Дине ее неудержимо влекло, и, разговаривая с Нахманом, она часто упоминала о ней.

Она представляла ее себе страдающей и непреклонной и хотела бы отдать себя всю на служение ей. И оттого, что чувствовала себя недостойной заговорить с ней, готова была пасть ниц, лишь бы Дина ее заметила, ободрила...

Часто вечером она подстерегала Фейгу, мечтая что-ни-

будь разузнать о Дине, и была недовольна холодностью Фейги к сестре.

– Если бы у меня была такая сестра, – сказала ей однажды Мейта, – я не отходила бы от нее.

Это было в конце ноября, вскоре после того, как старуху Симу подобрали на улице, сбитую с ног пьяным тачечником. Девушки сидели в комнате Нахмана, и Фейга торопилась, чтобы тот не застал ее.

– Некогда, Мейта, – ответила Фейга. – Мы любим Дину, но нам некогда показывать любовь. Вот осень прошла – монотонно продолжала она, – и зима гонит из фабрики на улицу, из улицы на фабрику. Мать все не встает, и ноги ее остаются толстыми, как бревна. Корзины лежат на печи, и когда она смотрит на них, то плачет.

– Конечно, – нетерпеливо возразила Мейта, – веселого в жизни мало. Но Дина – солнце...

– Солнце, – все так же монотонно повторила Фейга, – но нас и солнце не согреет. Когда посидишь в комнате, где мать лежит на одной кровати, а Ита, теперь опять забеременевшая от какого-то мальчика, на другой, и подумаешь, как они обе мучатся, то и о себе забудешь. Обе говорят, кричат от злости, ругаются, плачут... И голод сидит с ними, как живой.

Мейта уже молчала. И казалось, то были слова из книги зла, которые произносила девушка.

– Если бы не я, не Фрима, – продолжала Фейга, – они давно умерли бы с голоду. А ночью на улице уже прохода нет от

девушек. И злишься на них, что отбивают хлеб.

– Это страшно, – бормотала Мейта с гримасой, как будто ее ударили.

– Привыкнешь, Мейта, – с спокойным унынием отозвалась Фейга, и в этом был ужас. – Оно придет и к тебе, как самый верный друг. Оно отыщет дом, где ты живешь, твою квартиру, постучит тебе в окно, и ты выйдешь. Если зима не вытолкнет, весна заманит. И толкает, и тянет, Мейта...

Послышались шаги Нахмана, и Фейга стремглав выбежала из комнаты.

– Ну, вот я и свободен, – произнес он усталым голосом – Добрый вечер, Мейта! Что теперь делать?

Он, не раздаваясь, уселся, а Чарна, выглянув на него из двери, скрылась опять у себя в комнате...

Днем Нахман сидел с Даниэлем в трактире, после того как распродал торговцам остаток товара, и, поделившись с ним деньгами и выглядывая из окна на ряды, говорил:

– Мне Шлойма предсказывал, Даниэль, что так кончится. Не горюйте, товарищ, может быть, весной мы снова начнем торговать.

– Да, – ответил Даниэль, сияясь улыбнуться, – зима таки отрезала голову. Мы, правда, продержались до ноября, и это отличное утешение. Ведь четверть разбежалась еще в начале октября...

– Торговцем нужно родиться, – упорствовал Нахман.

– Не будем спорить, – согласился Даниэль. – Передайте-ка

мне чайничек. Теперь у меня одно осталось: продержаться до весны, а там уехать. Нас четверо с детьми, и все будем работать... на родине. Только бы добраться до тех, которые помогают уехать отсюда.

– Что же вы будете делать всю зиму? – мрачно спросил Нахман.

– То же, что и вы, – то же самое. Немного поголодаем, немного выпросим, немного заработаем... Поверьте, я не думаю об этом. Только бы не свалиться от болезни и найти тех, кто бросит добрый взгляд на мою семью. И «там» я всегда буду молиться на них.

Нахман не ответил, и они долго сидели задумчивые, потрясенные несчастьем, которое предвидели и ждали со дня на день...

– Теперь я вам надоем, Мейта, – ласково произнес Нахман, пожалев девушку, которая не поднимала головы от печали. – Но не хороните меня, – я, может быть, отыщу что-нибудь другое.

– Мы не гоним вас, Нахман, – раздался в соседней комнате голос Чарны. – Живите пока! Вы думаете, я жадная? – послышался ее смех, добрый, тихий, долгий... – Ваше положение теперь напоминает мне положение одного торговца с яблоками в тот день, когда у него украли корзины, и он не знал, что ему делать с яблоками.

– Не печальтесь, Мейта, – шептал Нахман, – в жизни ко всему нужно быть готовым.

– Мы не жадные, – повторила Чарна, показываясь на порог. – Мейта работает руками, я ногами... Живите пока у нас.

– Хорошо, Чарна, я не забуду вашей доброты.

– Ай, ай, – смеясь, выговорила она, – доброта! Вы это сказали, как одна птица, когда хозяин отнял у нее пшеницу, которую она собиралась съесть... Доброта! Нужно быть добрым, Нахман, истинно добрым! Я только и живу, когда я добрая. Тогда я как-то делаюсь выше, шире...

– Слышите, Нахман? – шепнула Мейта, с восторгом глядя на старуху.

– Когда мне становится худо, я только доброй и делаюсь. Я потеряла рано мужа, я плакала, и мне казалось, что солнце потухло, но я была доброй, доброй... Я потеряла троих детей, я плакала, но я была доброй, доброй... Что скажете, Нахман? Вы бы подумали, что я похожа на того несчастного извозчика, который целовал лошадь, когда та отказывалась везти...

Она опять вышла из комнаты, и долго еще слышался ее голос, ее смех, ее шепот.

– У вас хорошая мать, Мейта, – проговорил Нахман, безотчетно радуясь чему-то.

– Ее все любят, – серьезно сказала девушка, – я хотела бы быть похожей на нее.

– Вы тоже такая, – начал он и оборвался, заметив, что она покраснела.

– Я скажу ему, – думала Мейта, не поднимая глаз, – я скажу ему...

А Нахман уже рассказывал ей о Даниэле, о том, что он собирается весной уехать, и Чарна, слушавшая в другой комнате, кивала недовольно головой.

– Все это уже было, – произнесла она, появляясь в комнате. – Есть хорошенькая история...

И она щурила глаза, и беззубый рот ее умно улыбался, и она говорила, а Нахман, едва слушая, смотрел на Мейту и думал о своем.

Прошло несколько дней. Начались снега, и теперь горы его лежали во дворе и напирали на окна... Нахман сильно скучал и не находил себе места. Старуха Чарна искала для него работы, но бесплодно.

– Пойду к Шлойме, – сказал он себе как-то в одно утро.

Шлойма уже знал, что произошло с Нахманом, и встретил его восклицанием:

– Ага, Нахман! – произнес он. – Садись где-нибудь. Помнишь, я тебе предсказывал?

Нахман поискал места, оглянулся и спросил:

– Отчего же я не вижу Леи?

– Она у соседки. Рассказывай. А что Даниэль?

– И рассказывать не о чем. Сам не понимаю, как я продержался до сих пор.

– Я видел все, как на ладони, – серьезно произнес Шлойма, – но ты все-таки должен был попробовать. Здесь поте-

рля, – в другом выиграешь.

– Я не жалею об этом. Для себя найду что-нибудь. Даниэля жалко. Теперь он задумал уехать...

Шлойма одел очки и внимательно посмотрел на Нахмана.

– Ты не смеешься? – спросил он.

– Конечно нет, Шлойма.

Старик замолчал, огорченный...

– Да, едут, – с сожалением выговорил Шлойма, точно ему трудно было признаться, и он не хотел солгать... – Это не горячка, но едут. Куда ни обернешься – видишь повозку, а из квартир выносят вещи бедняков. Да, да, не горячка, не лихорадка, не кричат, не шумят, но едут. Куда? Кто знает? Как будто на границе стоит большой друг и манит рукой...

– Ну вот, – произнес Нахман внимательно вслушиваясь, – вы сами говорите.

– Хотел бы кричать, Нахман, но кто послушает? Реку не остановишь, когда она разливается, и если даже уносит самое драгоценное для тебя.

– Я понимаю вас, – с жаром выговорил Нахман.

– Нет, нет, ты не понимаешь... Оно так трудно. Я смотрю на несчастную жизнь... Как лес, в воде разбухший и уже гниющий, – так вижу я людей. Но увозится и молодое вино в старых мехах, хочу я крикнуть, и крик мой обрывается.

– Что же делать, что делать? – шепнул Нахман.

Старик сидел, подняв очки на лоб, и в глазах его бегал огонь.

– Пусть слабые уходят, пусть сильные останутся, – выговорил он. – Пусть уйдет тот, у кого больная жена, больной ребенок, пусть уйдет несчастный и немощный, пусть уйдет калека и нищий, пусть уйдет тот, кто слаб умом, слаб сердцем... Но уходят наши надежды, наше воинство. И крик мой обрывается...

Нахман сидел, насупившись, и мучительно работала его мысль.

– Вернемся к тебе, – произнес, наконец, Шлойма, выходя из задумчивости, – что ты теперь думаешь делать?

– Скажите вы, Шлойма. Какое несчастье, что я не знаю ремесла.

– Ремесла? А почему бы тебе не поучиться у Хаима, пока ты ходишь без дела.

– Как вы сказали? – с волнением спросил Нахман.

Что-то блеснуло перед его глазами. Будто он стоял у стены, и вдруг стена раздалась, и открылся широкий путь.

– Отличая мысль, – пробормотал он. – Не понимаю, как это мне в голову не пришло?

– Что подельывает Мейта? – с улыбкой спросил Шлойма.

– Мейта? – Он покраснел. – Работает... Вы думаете, Хаим согласится?

– Конечно, согласится. Будешь чай пить? Ну, так возьми чайник и принеси кипятку. Не там, не там ищешь. Вот тут за печкой стоит чайник.

Нахман принес чай, и оба уселись за стол. Они опять за-

говорили, но уже об упадке дел, о безработице, и Шлойма постепенно раскрыл ему весь ужас, который принесла зима беднякам. Люди голодали, болели, и глядя из окна на чистый снег во дворе, такой белый и невинный, никогда нельзя было догадаться, что мучительные страдания были вызваны им. Они просидели долго в разговорах и расстались дружно.

Теперь Нахман так привык к Шлойме, что все время проводил с ним. Он уходил к нему с утра, и по целым дням они рассуждали о жизни, о том, что происходит в окраине, и опыт Шлоймы, как живая книга, учил его. Иногда они посещали Натана в больнице, и в немногие часы бесед все трое сближались теснее, и что-то новое, никому в отдельности раньше неизвестное, открылось каждому, Натан оставался в том же положении, но еще больше укрепился в своей мысли о необходимости приспособлена к страданию, был терпелив к своей болезни, спокойно ждал смерти и красноречиво говорил о своем счастье, что познал истину. Шлойма горячо спорил с ним, Нахман с обоими, и все втроем переживали что-то невыразимо прелестное, свежее.

– Вчера у меня был Хаим. Я с ним говорил о тебе. Он согласен выучить тебя набивать папиросы, а весной сможешь поступить на фабрику.

В тот же вечер Нахман, расспросив у Чарны, – она была Хаиму дальней родственницей, – куда Хаим выбрался, отправился к нему. Когда он завернул в переулок, где тот жил, то очутился в длинном проходе, шириною в три шага.

– Я никогда не знал об этом переулке, – подумал Нахман, зажигая спичку, чтобы отыскать дорогу в глубоком снегу.

Двухэтажные здания, ветхие, серые, были так близки, что от малейшего ветра грозили упасть друг на друга. Они протянулись далеко, а в конце переулка, как свеча, горела керосиновая лампа в фонаре.

Нахман все зажигал спички и, сердясь на ветер, который тушил их, с трудом добрался до узеньких ворот дома и зашел во двор. Там, увязая в снегу, он долго бродил, пока натолкнулся на живое существо, которое хриплым голосом прокричало ему, что Хаим живет в середине внутреннего флигеля, и что черт бы побрал незнакомых людей и чахоточных соседей... Нахман поднялся по узенькой лестнице и употребил силу, чтобы открыть примерзшую к раме дверь.

– Это ты Хаим? – послышался тихий женский голос.

– Нет, не Хаим, – ответил Нахман. – Я сам пришел к нему. Скоро он придет?

– Зайдите и закройте дверь. Кажется, вы Нахман?

Нахман вошел в комнату и на ходу произнес:

– Да, Нахман. Я был у вас, помните?.. У меня дело к Хаиму.

Теперь лишь он оглянулся, и тяжелая тоска сейчас же охватила его. На железной кровати лежала Голдочка, жена Хаима, и черты ее лица так изменились, что Нахман едва узнал ее. Щеки у нее горели, а скулы и верхняя челюсть придавали ей такой суровый вид, что чувство жалости мгно-

венно сменялось страхом. Комната имела форму маленького ящика, и сырость стен и тяжелый запах табака делали воздух душливым, раздражающим. На столике лежала горка табаку, покрытая мокрой тряпкой. Чуть тлела зола в казанке.

– Садитесь, – медленно, с одышкой выговорила Голдочка. – Я вас сразу узнала, – она улыбнулась от радости, что память не изменила ей. – Хаим пошел за гильзами. Сядьте поближе.

Он пересел и, чтобы утешить ее, сказал:

– Вы лучше смотрите, чем тогда, когда я был у вас. Честное слово! Как вы себя теперь чувствуете?

– Вот и вы обманываете, – печально сказала она. – Все обманывают Голдочку. Я ведь изменилась? Можете говорить правду, я не боюсь. Голдочка не боится. Я, слава Богу, видела смерть, – все ведь тут так кончают, – и привыкла. Можете сказать правду. Вот слава Богу, что у нас детей нет...

Она отпила чай из стакана, который стоял тут же, на стуле, и оправилась.

– Что у вас слышно? – спросила она. – Вы, кажется, торговали в рядах?

Ей становилось все приятнее с ним. Ее так редко посещали теперь, и она страстно тосковала по улице, по людям... И то, что с ней сидел свежий, новый человек, что у него были широкие плечи, цветущее лицо и громкий голос, доставляло ей большое наслаждение.

– Да, торговал, – ответил Нахман, закашлявшись, – но те-

перь разорился. Ряды не кормят.

– Вот как, – удивилась она. – Правда, мы всегда с Хаимом думали, что ремесло лучше торговли, и только одного понять не могли, почему Хаим стал папиросником. Может быть, на других фабриках не лучше, – я ведь видела жизнь, – но хуже нашего ремесла не может быть. Вы чувствуете воздух? Табак ложится на грудь и съедает ее.

– Человек никогда не знает, где упадет, – возразил Нахман. – Вот и я попался. Я потерял половину здоровья за эти полгода в рядах. Не пугайте меня фабрикой. Разве Хаим вам не рассказывал, о чем Шлойма с ним говорил?

Она испуганно посмотрела на него, а он, улыбаясь ее страху, тихо повторил:

– Не смотрите так на меня, я могу отказаться работать с Хаимом, и тогда не знаю, что со мною будет.

– Я не мешаю вам, – с грустью выговорила она, – но посмотрите на меня. Я не смотрюсь в зеркало, – это ведь трудно вынести. Я была здоровой, свежей, – красная, как яблоко, когда вышла за Хаима. Он был уже тронут табаком. Да, тронут, это правда. Но я любила... Мы сняли одну комнатку, и, кажется, если бы ангелы там жили, – не могло быть лучше. Он зарабатывал тридцать рублей в месяц, – и я стала хозяйкой. Но скоро цены начали падать... Хаим из кожи лез. Спрашиваю, – кто сидел бы сложа руки? И я принялась помогать ему. Посмотрите, что сделалось со мной за пять лет...

– Но что же мне делать? – упрямо настаивал Нахман. – От

болезни нигде нельзя уберечься.

Она замахала руками и с ужасом в голосе стала рассказывать о жизни рабочих-табачников. Все болели чахоткой, грудными болезнями, все бедствовали, дети погибали рано или позже, отравлялись табаком...

– Тут такие несчастья, – говорила она, – что лошадь свалилась бы! Вот я вам расскажу... Недавно взяли в больницу товарища Хаима, Лейбу, в последней чахотке. Через неделю слегла жена его, – она тоже была чахоточная, – пришлось и ту отправить в больницу. Дети остались на руках девятилетней девочки. Вчера умерла мать, а накануне Лейба, и оба так и умерли, ничего не зная друг о друге... Даже проститься не удостоились...

Она вдруг и совершенно неожиданно заплакала, и от ее слез у Нахмана, как будто наступили на него, сжалось сердце.

– Не плачьте! – попросил он...

Она лежала неподвижно, как ребенок, и продолжала плакать.

– Нам ни в чем не везет, – произнесла она сквозь слезы. – С фабрикой не везло, с лейпцигским билетом не везло, со здоровьем не везло... И отчего нам не везло? Мы все делали. Мы работали, недоедали, недосыпали, все готовились к лучшему и никогда не жили.

– Так, так, – качал головой Нахман.

– С каждым днем становится труднее жить. Народ приезжает со всех сторон и сбивает цены. Дошло до того, что с

неохотой платят тридцать копеек с тысячи. Теперь, говорят, есть уже машинки для выделки папирос... Вы слышали об этом? Вот болезнь мучит, – но когда вспомнишь, что ожидает нас дальше, то и ей радуешься... Кто это там? Кажется, Хаим. Да, да, это он...

Нахман обернулся. Дверь уже была открыта, и в комнату входил Хаим. Он тяжело дышал и отдувался.

– Добрый вечер, Хаим! – произнес Нахман.

– А, Нахман, – обрадовался Хаим, – откуда вы приехали? Добрый вечер!

Он положил гильзы на стол и стал, снимать пальто.

– Кто бы мог подумать, Голдочка, – произнес он, – что придет Нахман. Какой сегодня праздник у нас? Когда человек отправляется раз в год в гости к приятелю, он говорит себе: пусть сегодня будет праздник, я иду к приятелю.

– Вы угадали, – засмеялся Нахман, – у меня уже больше месяца праздник.

– Да, да, мне Шлойма рассказывал. – Он сел. – Попали уже в колесо?

– Я хочу попасть в другое, Хаим...

– И об этом знаю. Чай еще горячий, Голдочка? Поработайте со мной. Если идти не спеша на тот свет, – не все ли равно, придешь ли туда табачником или торговцем? Земля принимает всех без разговоров... Даже приятнее висеть над ямой и покуривать.

Нахман рассмеялся, хлопнул Хаима по колену и весело

сказал:

– Вы остались тем же шутником... Честное слово, вы славный человек, и я с радостью буду работать с вами! Немножко жира только не хватает вашему телу. Вы похудели, Хаим...

Голдочка сделала ему незаметно знак. Нахман смутился и пробормотал:

– Конечно, я говорю, вы похудели, но это потому, что я сравниваю вас с собою. Вот если бы вы были таким здоровым, как я...

– Да, – говорил Хаим, поставив стакан на стул и блуждая глазами по комнате, – похудел. Все похудели. Теперь, кого ни встретишь, сейчас подумаешь: он похудел. Куда это человеческий жир уходит, Нахман? Ребята говорят, что знают. Вы говорите, что в полной руке нашего хозяина лежит мой жир? Вы не смеетесь, Нахман?

– Это – пустяки, – пробормотал Нахман.

– Ну, не говорите! В каждой правде есть немножко лжи, вот как в лейпцигском билете. Выиграть может, а обманывает... Я, право, завидую вам, Нахман. Вы здоровый парень, у вас нет билета, который не выигрывает...

– Вы еще выиграете, Хаим, – утешил его Нахман.

– Слышишь, Голдочка? Я тоже говорю. Тогда позову десять докторов, пошлю Голдочку в деревню, и она станет полненькой, как была. Возьму ей ребенка у какой-нибудь несчастной женщины, и она станет матерью.

Он начал фантазировать на тему о выигрыше, и как будто

сами стены обрадовались, – так стало приятно от его мечтаний.

Голдочка недолго боролась и, раскрыв глаза от наслаждения, слушала чудную повесть о будущей жизни.

– Я вам говорю, – настаивал Хаим, красный от волнения, – что это одна, но крепкая надежда. Все обманет, только не билет. Жизнь скучна, как проклятая ночь. Детей нет, здоровья нет, хлеба нет... Кто думает о нас?

– Конечно, – поддержал Нахман, – никому до нас дела нет.

– Раскошелится ли богач для Хаима? Ведь такой Хаим, как я, ему нужен больше, чем он мне. Я не во всем согласен с нашими ребятами, но тут они правы, как святые. Наш хозяин ездит в карете, а ведь только кажется, что он в карете сидит. Это он на нас ездит, и мы уже знаем, как из нашей крови, из наших сил сделал так, чтобы карета казалась хозяйской. Если он подумает обо мне, что будет с его каретой? И спрашиваю вас, на что же мне, чахоточному, с чахоточной женою, надеяться, хотя ребята и хорошие и хотя жизнь понемногу и движается к лучшему?

– Хаим, – перебила его Голдочка, – дай Нахману чаю!

– Я ему дам чай... А с билетом живешь так, будто высунулся из окна и смотришь, идет ли уже тот, кого ждешь. И ночью снятся марки, деревья, ребенок...

Он засмеялся от радости, и Голдочка и Нахман вторили ему.

– Право, – прибавил, он, – без этого жить нельзя. Здесь

бывает так, что даже из пальцев текут слезы. Теперь ей легче, моей Голдочке...

Он достал чайник и налил Нахману в стакан.

– Посидите и напейтесь чаю, – сказал он, – я уже ночью буду работать.

Он перенес стол к кровати, отодвинул табак, переставил лампочку, чтобы было светлее, и все начали дружно разговаривать о делах, о знакомых, о фабрике, о намерении Нахмана, и он очень поздно ушел от них...

Теперь Нахман подвигался по пустынным белым улицам, весь под влиянием этих добрых людей, и безотчетно радовался, в предчувствии чего-то славного, крепкого, что поставит его твердо на ноги.

И мысли тянулись у него легкие, как после большой усталости, и думалось о Мейте, которая, – он знал, – поджидала его.

– Она не спит, – говорил он себе, более довольный, – я обрадую ее.

Когда он вошел в темную комнату и стал искать спичек, до его ушей донесся шепот, и он не сразу узнал голос Мейты.

– Это вы, Мейта? – тихо спросил он, почувствовав, что дрожит.

– Я, Нахман... Фрима поступила в «дом», Симу едва спасли...

– Кто вам сказал? – с ужасом спросил он.

– Фейга, – шепнула Мейта. – Фрима в «доме» со вчераш-

него дня. Ее уже видели.

– Дина знает?

Он нашел в темноте ее руку и невольно сжал ее. Мейта не ответила, и оба стояли без слов, погруженные в страх.

– Я боюсь, – шепнула вдруг Мейта, легонько притягивая его к себе, – как я боюсь!

– Чего вам бояться, – тихо говорил он, усаживаясь на кровать, – я ведь здесь! Я ведь здесь, – машинально повторил он, усаживая ее рядом с собой.

Они опять замолчали, все более волнуясь оттого, что были так близки в темноте. И как будто что-то лучезарное, прекрасное таилось подле них и теперь не могло уже прятаться, – счастье раскрылось. Мейта вдруг обняла Нахмана и испуганно шепнула:

– Я уже не могу, Нахман, я люблю вас, люблю! Я боюсь, – я люблю... Не сердитесь! Я не буду вам в тягость, я буду работать, работать...

Нахман слушал, и кружилась его голова. Теплые слова, чистые, добрые, после ужаса согрели его душу, и, не отвечая, он нежно прижимался к Мейте, ожидая ее признаний.

– Весной мне будет шестнадцать лет, – шептала она. – Я поступлю на фабрику... Я буду работать, помогать вам... любите меня!

И когда, отдавшись своей радости, он отдал ей душу и стал целовать, она с трепетом спросила:

– Вы еще любите Неси? Вы любите?

И он отвечал ей, кивал головой, обнимал ее, и они сидели до утра, пока бледный свет дня не разогнал их...

Они пьянели от счастья.

Жизнь Нахмана вдруг наладилась. Как будто до сих пор он ходил с повязкой на глазах, натыкался на острия, – внезапно повязка упала, и открылся весь белый, светлый, прекрасный путь. Только теперь, с раскрытием тайны, ясно стало, как хорошо быть человеком и иметь эту неистощимую и ненасытимую способность радоваться всему. И для Нахмана и для Мейты как бы наступило второе детство, и в иных гармонических красках и звуках, в иных чудесных видениях проходило окружающее, и оба с трепетом, словно познавали тайну истины, принимали все, что шло на них и от них.

Они стали мягче, чувствительнее. Меланхоличное проникло в их предвидение будущего. Оно рисовалось им таким сладостным, и ярко чувствовалось, как оскорбительна, нечеловечна была их прежняя жизнь.

Старуха Чарна своеобразно приняла их любовь, рассказала, смеясь, историю о царской дочери и славном дурачке... Тогда стало совсем легко, и жизнь потекла здоровая, хорошая. Нахман работал весь день у Хаима, совершенно счастливый, что научается ремеслу, и, несмотря на то, что перед ним все больше раскрывался ужас жизни рабочих, – только страстнее рвался войти, как товарищ, в их среду. Новая, неведомая мощь чувствовалась ему в этих людях, начинавших понимать причину своего рабства, и он старался все

ближе сходиться с ними. Он зажигался от их разговоров, и развивалась какая-то непобедимая охота жить, вмешиваться в жизнь, и теперь ему было весело от всего. Весело было у Хаима, и занятно, и интересно, хотя в комнате вечно раздавались вздохи больной Голдочки; необыкновенным казался Хаим и приходившие, – и о них и о том, что сам чувствовал, вечером обсуждалось с Мейтой.

В напряжении всех сил своих жила девушка. Чудесной радостью начинался день, весь заполненный любовью; чудесной радостью, начинался вечер, когда приходил Нахман... Словно все сказки, рассказанные Чарной, выделили из себя самое драгоценное и нежное и превратились в правду, – так переживала она действительность. Она не узнавала прежних людей, не узнавала своей комнаты, двора и наслаждалась, будто перенеслась в другой город, полный чудес. Иногда приходили Шлойма, Даниэль, и тогда Нахман сиял от радости. Мейта усаживалась в стороне и, как ребенок, почти-тельно внимала разговорам. Она любила слушать Шлойму, Даниэля, но больше всего ей нравилось то, что говорил Нахман, и за его звонкий голос, за блеск в глазах, за жесты ей хотелось целовать землю, на которой он стоял... Она уходила к матери, изнемогая от волнения, и та добрым голосом рассказывала ей, как длинна и разнообразна жизнь.

Когда она оставалась с Нахманом, начиналось очарование бесконечное, мгновенное. Они говорили о своем детстве, о любви, о своих надеждах и о народе, но обо всем спеша и

волнуясь, будто сейчас нужно было дать ответ, который ждали от них... По временам, случалось, ее охватывал страх. Она не знала, откуда он приходил, и мучилась от него. Казалось ей, будто кто-то поджидает момента, когда ее счастье поднимается до самой большой высоты, чтобы разом пресечь его. И тогда она страстно плакала, словно несчастье уже совершилось...

В начале марта Даниэлю удалось получить работу на кожевенной фабрике, и Нахман вечер этого счастливого дня провел в его семье.

– Теперь, – говорил Нахман, прощаясь, – я за вас спокоен, Даниэль. Что-то становится веселее...

– У нас есть Он, – произнесла жена Даниэля, посмотрев на небо.

– Ну, ну, ступайте уже! – выговорил, смеясь, Даниэль. – Вы ведь стоите, как на иголках. Ступайте, ступайте, мы все понимаем...

Они дружески улынулись друг другу и расстались.

Нахман уже был недалеко от дома, где жил, как его окликнул знакомый голос.

– Неси! – закрыв глаза, подумал он.

– Подождите же, Нахман! – снова раздался ее голос.

– Это вы, – пробормотал он, почувствовав, как радость покидает его.

– Конечно я, – разве я так изменилась?

Он быстро осмотрел ее. Что-то как будто переменялось в

ней, но трудно было уловить, что именно. Казалось, она возмужала, и это ей к лицу так же, как ребенку, который из шалости надел платье взрослого. Глаза оставались ясными, открытыми, смотрели прямо, и в них лежала новая суровость, которой прежде не было.

– Да, да, это я, – говорила она, глядя перед собой...

Они пошли рядом, – она, как бы догоняя его, а он медленно, словно сожалея, что удаляется от окраины. Снег лежал повсюду, все серое, печальное исчезло под ним, – но скука царила в безлюдных переулках и улицах.

Нахман шел, опустив голову, не смея верить, что рядом с ним идет Неси, и иногда с недоверием взглядывал на нее. Что-то далекое, юношеское поднималось в его душе, и ему казалось, что в насмешку вернулось столь желанное некогда, столь дорогое. И с сожалением взрослого, с нежной печалью смотрел он на это прошлое, которое уже не имело власти над ним. Как давно это было, как это было близко...

– Я иду с вами, – говорил он, – и стараюсь думать, что ничего не произошло... Не произошло, Неси! Вот я вернулся из рядов. Я пошел к вам, и вы встретили меня. Повернем в этот переулок, чтобы казалось – мы идем гулять.

– Нет, нет, Нахман!.. Я не узнаю этих улиц. Расскажите мне о себе...

– Вот вы уходите от меня, – продолжал Нахман. – Помните, как я любил вас?

– Я не любила вас, – холодно сказала Неси.

– ...а теперь иду с вами и ничего не чувствую. И все-таки мне чего-то до слез жалко... Зачем вы ушли, не повидавшись со мною?

Она пошла быстрее, взволнованная воспоминаниями, растроганная, а он рассказывал ей о мучениях, которые пережил.

– Но я пришла к вам, – крикнула она, не выдержав и схватив его за руку, – я была у вас, я ждала!..

Они смотрели друг другу в глаза, и оба были в отчаянии.

– Какое несчастье! – бормотал он.

– Я так любила вас, Нахман, – призналась она, сбросив холодность, и опять взяла его за руку, – но вы были слабый, слабый... Потом и с этим помирилась, и уже хотела вас, одного вас, видеть вас, слушать. Расскажите мне о людях... У меня дрожала душа, когда вы говорили. И только одного слова вашего не хватало... Нет, нет, расскажите лучше о себе!

Они уже вошли в широкую улицу, упиравшуюся в город, и Неси, поглядев на огни, просто сказала:

– Вот я смотрю на город, и опять что-то бьется в груди по-прежнему, и хочется крыльев, чтобы полетел на огонь. Не город звал меня – скажите, кто? Но есть что-то, чем я довольна. Я не вижу этой нищеты, этой грязи, этих фабрик. И все-таки, Нахман, душа становится меньше.

– Как я жалею вас, – тихо сказал Нахман, сжимая ее руку, – как жалею!

Она вдруг отняла руку у него и с неожиданной ненавистью

произнесла:

– Не жалейте меня, Нахман, это хорошо для калек.

Она оборвалась, а он, чтобы успокоить ее, стал рассказывать о своей жизни.

– Ну что же, – произнесла она, – у вас весело. Скажите Мейте, что я ее люблю. Будете работать на фабрике? Кто может вам позавидовать? И никуда вас не тянет? Почему же я жалею вас, Мейту? Вот сани. Я беру их. Прощайте, Нахман.

– Прощайте, Неси!

Они долго прощались, как будто навсегда. И когда она уехала, он с сожалением смотрел ей вслед, точно она уносила с собой что-то нужное ему в жизни, без которого она никогда не пойдет гладко.

– Вас никуда не тянет? – повторил он.

Взволнованный, возвращался он домой, полный неясных дум... Может быть, он думал о человеке? Разве он способен был понять свое волнение, похожее на жалость к снегу, который лежал кругом и скрипел под ногами, и на содрогание перед тем, что сам он – бессильная часть сурового окружающего, которое невозможно победить? Опять стояла Неси перед глазами, и он сравнивал ее с Голдочкой, Диной, с Мейтой. Какие славные фигуры! Разные и далекие, они как бы сговорились и в одну тяжелую дверь стучались из своего подземелья.

– Быть добрым, добрым, – вспоминалась ему Чарна, но сердце его оставалось печальным, бессильным...

Во дворе он нашел толпу, которая стояла подле чьей-то квартиры, и спросил себя с недобрым чувством: что случилось?

Он быстро зашел в квартиру, и еще больше удивился, увидев Мейту в слезах и возле нее Фейгу, утешавшую ее. При виде Нахмана, Фейга поднялась, чтобы выйти, но он жестом удержал ее. Ему все еще трудно было встречаться с нею, хотя после несчастья с Фримой отношения между ними сгладились.

– Не уходите, Фейга – попросил он. – Что здесь случилось? Во дворе толпа...

И голос Фейги дрожал, когда она ответила:

– Часа в три внезапно умерла мать Блюмочки. Мы все уже без сил от горя несчастной девочки.

– Не может быть! – воскликнул Нахман, пораженный. – Где же Блюмочка?

Мейта махнула рукой. Нахман вышел из комнаты и побегал в квартиру модистки. Толпа все не расходилась, и он, как ни старался, не мог добраться, до двери. Среди говора, вздохов, плача, иногда, как призыв, проносился тоненький жалобный голосок:

– Мама, мама!..

Нахман оцепенел. Передвигавшаяся толпа насильно втолкнула его в сени, и в открытую дверь он увидел знакомую картину того, как оплакивают мертвое тело до похорон. На полу, ногами к дверям, закрытое черным сукном, лежало

тело. Кругом валялась солома.

У изголовья горели свечи, и они казались не свечами, а чем-то исходящим от покойницы, как бы продолжением печального, оскорбительного образа человеческого ничтожества.

Они горели нехорошим пламенем, красные язычки с копотью рвались к потолку, и от них шел удушливый запах. Старухи стояли на корточках, положив руки на тело, и с плачевным пением рассказывали о добродетелях покойницы и искренно плакали, вознося моления, ибо вспоминали о своей жизни, беззащитной в руках Того, Кто может все... И это покрытое черным сукном тело покойницы, и эти скверно горящие свечи, и тоскливая, сладостная мелодия старух, – все было так внушительно, дышало такой властью, что потрясенные ужасом сердца не боролись...

На руках у Чарны, прижавшись к ней, сидела почерневшая от страха и горя Блюмочка и, когда она опоминалась, дико и жалобно вскрикивала; «мама, мама», и начинала биться и рваться... А Чарна какими-то своими словами уговаривала девочку, и по ее лицу, доброму, милосердному, текли слезы. У тела менялись старухи, приходили другие и однообразные поющие голоса и чудесные слова беззащитности и печали, такие трогательные, что стены бы заплакали, легко вырывали стоны и слезы у присутствовавших мужчин и женщин.

Нахман не выдержал страдания и пошел домой.

– Что с Блюмочкой? – спросила Мейта, увидев его.

Нахман не ответил, а Фейга стала рассказывать, как это произошло, и как убивалась Блюмочка.

– Что с ней будет, – спрашивала Мейта, – что с ней будет?

Она опять заплакала, вспомнив, как девочка вбежала в комнату и бросилась ей на руки, а Нахман, покачав головой, тихо произнес:

– Мы ее возьмем к себе, Мейта.

Теперь он чувствовал особенную нежность к девушке и хотел бы, чтобы Фейги не было, а он мог рассказать обо всем. И, когда Фейга, поняв по их лицам, что оба хотят остаться наедине, ушла, – Нахман пересел к Мейте и с жаром сказал:

– В жизни, Мейта, нужно быть добрым, милосердным...

Мы сами слабы, беззащитны, но нужно быть милосердным.

– Мы будем милосердными, – произнесла она, поцеловав его руку, – больше, чем в наших силах...

Она не отнимала его руки от своих губ и так сидела, а он рассказывал ей о Неси, и в сердце обоих была печаль...

Очень поздно вернулась Чарна с Блюмочкой на руках. Девочка, разбитая усталостью, крепко спала, и Мейта, раздевая ее, целовала ее худенькие ручки, худенькое тело и плакала о ее судьбе. Чарна положила Блюмочку подле себя и всю ночь вздыхала, не смея своим голосом выдать всхлипывающей со сна девочке, что она не дома. На рассвете Блюмочка проснулась и, увидев себя в чужой комнате, как взрослая, тихо заплакала...

С тяжелым чувством Нахман пришел к Хаиму.

– Ну, вот и вы, – произнес Хаим шепотом. – Я думал – эта ночь не кончится. Что-то и вы не веселый...

Он оглянулся на Голдочку и еще тише сказал:

– Я думал, что в эту ночь потеряю ее... Душа моя разрывается. Добрая, как голубь. Добрая, Нахман, добрая!

Без жилетки, босой, похожий на больного мальчика, он стоял подле стола и смешивал горки табака, покашливал, а Нахман, не снимая пальто, недоумевающим тоном рассказывал о Блюмочке.

– Да, да, – вздохнул Хаим, – невесело в нашем городке. Нищие, больные... И отчего это человеку не везет на земле?

Нахман сбросил пальто, отогрел руки у казанка и подошел к столу.

– Подождите, – остановил его Хаим, – табак еще сухой...

– Я ничего не понимаю, – говорил Нахман, наблюдая, как Хаим набирал из кружки воды в рот и брызгал на табак, – нет, не понимаю! Вот нищета. Человек работает, – он должен быть свободным. Но работа не помогает. Свободы нет, сытости нет, здоровья нет. Я говорю, как ребенок, и знаю это. Нужно быть добрым... Но несчастный не может помочь несчастному, и все остается по-старому. Я мог бы, Хаим, сказать, что счастлив, но я замучился...

Он говорил так сердечно, и Голдочка поднялась на локтях, чтобы лучше расслышать.

– Хорошо, что я стою уже у конца, – задыхаясь, выговорила она.

– Вы совсем как дети, – растерянно произнес Хаим, – чего вы плачетесь? Это жмет сердце, это режет, как раскаленные ножи, но посмотрите на меня. Перестало на минутку болеть, – опять нужно стоять на ногах. У меня билет, но у каждого есть свое. Я не согласен с ребятами, но и у них свой билет, и вот здесь я верю им. Я не хочу другой родины, но сионизм, билет, – я верю им... Подождите, Нахман, сегодня ко мне зайдет один из ребят узнать адрес заказчика, которого я нашел для него. Вот с ним поговорите!

– Давид придет? – с радостью спросила Голдочка.

– Конечно, он, – смеясь, ответил Хаим. – Это, Нахман, славный парень. Он на днях лишь приехал из... Надо было знать его мальчиком.

Они стали работать. Нахман крутил папиросы, а Хаим вставлял мундштуки.

– Ого, – весело произнес Хаим, – честное слово, он скоро будет работать, как я...

– Ну, ну, еще далеко до вас, Хаим.

– Не дальше этого стола, Нахман. После Пасхи начнете работать на фабрике.

Они проработали до обеда, перекусили и опять засели. Часа в три послышалась возня у дверей.

– Это, наверное, Давид, – произнесла Голдочка.

– Конечно, он, – отозвался Хаим, разглядев гостя, – войдите, Давид, войдите!

В комнату шагнул человек в одежде рабочего. Нахман

бросил на него быстрый взгляд и сейчас же разочаровался. Это был коренастый парень с широким лицом, с крупным носом и большим ртом. Глаза неодинаковой величины, темно-коричневые, казались мутными, и он производил впечатление слепого, который только что прозрел, или тонкого хитреца. Над упрямым лбом лежала густая куча курчавых волос, и с широкими плечами, неповоротливый, он походил на недоброго медведя.

– Какой неприятный человек, – подумал Нахман.

– Ну вот, – говорил Хаим, усадив Давида подле Голдочки и вертясь по комнате, – вы опять у нас. Прошло то время, когда вы одного дня не могли прожить без нас. Когда это было? Шесть лет тому назад. Как вы находите Голдочку теперь?

– Не отвечайте, Давид, – вмешалась Голдочка, – вы ведь обманете меня. Работа меня съела, и об этом нечего говорить. Вот вы так хорошо смотрите. Но и вы переменялись. Откуда вы теперь?

– Издалека, – ответил Давид.

Он неохотно отвечал, пораженный видом Голдочки, которую оставил почти здоровой женщиной... А она все спрашивала, и постепенно он оправился и стал рассказывать, где был до прошлого года, в каких городах, и о том, как там живут рабочие.

– Значит, и там не лучше, – произнес Хаим, выслушав. – Все хозяева похожи один на другого.

Он сам разлакомился и заговорил о притеснениях, о

штрафах, о ценах, и это было просто ужасно. Но когда он упомянул, что лучшие работники не вырабатывают более восьмидесяти копеек в день, то вспомнил, что эти лучшие всегда в последней степени чахотки, – и, смеясь и тыкая себя пальцем, бормотал:

– Я только дошел до шестидесяти копеек, – больше двух тысяч не могу успеть. Через год я, пожалуй, буду делать две с половиной тысячи, но я стану ближе к земле на десять лет.

– Что же делать? – неожиданно раздался голос Нахмана, – и он уставился на Давида.

– Это Нахман, – проговорил Хаим, внезапно оборвавшись, – он учится ремеслу.

– Нечего делать, – спокойно и печально отозвалась Голдочка.

– Вы скоро сдались, – с усмешкой перебил ее Давид. – Есть что делать! Об этом уже позаботились. Будьте совершенно спокойны...

Внезапный прилив симпатии к Давиду налетел на Нахмана.

– Может быть, этот знает... – подумал он.

– Вот этот человек знает, Нахман, – проговорил Хаим, довольный, как будто была буря, и он укрылся от нее. – Спросите его, и он вам ответит. Он вам ответит, Нахман!

– Что же делать? – отдельно спросил Нахман, горя глазами.

– Идти к нам, – ответил Давид, тряхнув энергично голо-

вой.

– Подождите, – заволновался Нахман, – я не понимаю. За-чем к вам? Вы сами беспомощны... Подождите, – я хочу сво-боды.

– Ого, вы горячий! – хорошим голосом перебил его Давид.

– Я хочу свободы, – повторил он, – я стою – ты стоишь. Я не трогаю тебя – не трогай меня... Вот чего я хочу. Теперь нищета. Откуда она взялась? Повсюду кричат о родине. Я ничего не понимаю. Душа разрывается от всего, что вижу, а понять ничего не могу... Тут есть сапожник Шлойма...

– Я знаю о нем, – опять перебил Давид, теребя свою бо-роду и внимательно слушая.

– Он умен, как день, но как сделать то, чего он хочет?

– Он будет нашим, – проговорил Давид.

– Вы говорите правду! – воскликнул Нахман.

– Он скоро будет нашим, – повторил Давид, – еще немножко, и он сдастся...

– Хорошо, вы мне потом расскажете. Вот сионисты тоже дают ответ... а все-таки кругом страдают от голода, умира-ют от голода, мучатся... Каждый дает свой ответ, а правда остается.

Хаим от наслаждения потирал руки...

– Вот это я люблю. Режьте, как хлеб. Так, так, выбивайте искры своими головами... Честное слово, человек хорошая штучка!

– Я сказал, что делать, – ответил Давид. – Нужно идти к

нам. Другого выхода нет. Я переживал то же самое, что и вы... Три года тому назад меня сняли с веревки...

– Куда к вам? – недоверчиво спросил Нахман.

– К нам, к рабочим. Вы видите эти дома? Наши дома повсюду такие. Но в них сидит сила... Мы знаем ее, вот в чем наша победа. Мы не беспомощны – мы сильны. Враг здесь, враг там, – он повсюду. Соберемся, – он станет против нас, и его даже слепые увидят.

– Это хозяин, – не вытерпев, подсказал Хаим. Давид не ответил и долго не сводил с него глаз.

– Говорите, – попросил Нахман, – говорите...

Опять наступила тишина, и в тишине этой, как расплавленный металл, лились горячие слова и, как металл расплавленный, жгли, казнили и выжигали навсегда в душе чудную ненависть к врагам, которой так мало среди людей. Мощная уверенность росла в этом убежденном голосе. Она звала, она покоряла... Как будто творец создавал, – перед потрясенным Нахманом вырастал закованный в железо боец с непреклонной волей, и солнце правды было в его руках. И с этим солнцем правды в руках он шел среди тьмы жизни, среди дорогих, измученных людей, и вокруг него скоплялись полчища воинов, – и он, и солнце правды, и полчища, – все шли на войну со старым миром.

– Вы слышите, Нахман, – перебивал иногда Хаим, – если бы не чахотка...

Теперь спадала черная завеса незнания и непонимания, и

истина ясная и прозрачная осветила жизнь... И Нахман, весь потрясенный, готовый на подвиг, на жертву, затаив дыхание, слушал великую повесть об обманутом человечестве... Как из темноты выходила грозная, вооруженная всеми орудиями неправды и кулака, победительная сила богатства, и в комнате пронеслись стоны полураздавленных людей. То кричали мужчины, женщины, старики и старухи, подростки и дети... Как отбросы ненужные и ненавистные, замученные, выбрасывались они из жизни, и их стоны и жалобы никого не трогали.

Нахман сжал кулаки, и сдавленный звук; вырвался из его горла... И была эта сила такая подлая, такая могучая, что его охватил страх. Какими жалкими, ничтожными казались ему тьмы людей перед этим блестящим могуществом зла и насилия, могуществом, дававшим беспредельную власть одному над тысячами, кучке – над миллионами! Как люди не могли понять «своей» силы, власти своих миллионов над кучкой? И ясной, блистательной мелькнула у него мысль Шлоймы о единении.

Он слушал, и ядовитой ненавистью напитывалась его душа, и весь как бы уже прицеливался в сильных неправдой и злом. Давид продолжал, и с каждым словом его враг как будто сжимался, втягивался, собирал свое могущество в одно место, словно хотел подняться во весь рост.

– Что скажете, Нахман? – шепнула Голдочка, сверкая глазами...

Но вот Давид заговорил о рабочих... Опять радостно и победно зазвучал его голос. Как клич, раздались его слова. Со всех сторон, из домов-лачуг, из фабрик, из заводов показались рабочие. Они выступали еще медленно, они испуганно озирались, они колебались. Голос Давида звучал все увереннее... И они выходили смелее, их лица одушевились, они соединились, они выстроились в могучие ряды...

– Где мое незнание? – спрашивал себя Нахман, усталый от очарования.

Теперь рабочие побеждали. Они ломали старый мир, старые отношения людей, и занималось утро братства людей, народов, свободы...

Давид замолчал. Все мускулы его лица еще дрожали, и руки, сжатые в кулаки, не разжимались.

– Ну что, я вам говорил! – с восторгом воскликнул Хаим. – Ребята кое-что понимают.

– Мы должны молчать, Хаим, – тихо произнесла Голдочка... – Зачем мы жили?

Нахман не слушал их, и эти серые голоса и эти серые снова причиняли ему страдание.

– Однако, мне пора, – выговорил Давид после долгого молчания. – Дайте мне адрес, и я уйду.

– Сегодня я больше работать не буду, – сказал вдруг Нахман, поднимаясь.

Он казался таким возбужденным, что Голдочка с беспокойством произнесла:

– Куда вы теперь пойдете, Нахман? Вы на себя не похожи.

– Может быть, нам по дороге, тогда пойдём вместе, – предложил Давид.

– Слышишь, Голдочка, – рассмеялся Хаим, – он еще уводит его.

– Я пойду с вами, – просто сказал Нахман, – мне нужно у вас еще спросить...

Он говорил упрямо, будто требовал, и Давид, спрятав адрес, негромко ответил:

– Хорошо, я найду для вас время...

Оба простились с Хаимом и Голдочкой, и, когда вышли на улицу, Нахман с жаром начал:

– Вы мне открыли глаза, Давид, – я пойду к вам... Не сомневайтесь.

Он пошел быстро, погруженный в счастливый бред, и Давид едва поспевал за ним. На улицах было тихо, и теперь, при свете дня, бедность и заброшенность окраины были еще ужаснее. Но не печаль, а удушающую радость испытывал Нахман, шагая по грязи талого снега. Священными казались ему эти дома, страдания людей, живших в них, – во всем он видел могучий рычаг и будто в царстве завтрашних воинов проходил он.

– Теперь говорите, – произнес он, вдохнув воздух полной грудью и оглядываясь. – Я чувствую, что начинаю жить...

И Давид опять заговорил, и Нахман спрашивал... И оба шли погруженные в свои мысли, в свои надежды и веру, – а

из города навстречу им неся суетливый шум, в котором не было намека на предчувствие, что скоро его неправде придет конец.

Весна возвращалась...

Каждый день она приходила с полей, приходила с моря, из далеких стран, и все дольше засиживалась в городе. По утрам уже белели теплые росы на крышах, на деревьях, и до восхода солнца мутные туманы бродили на улицах, по воздуху, по небу... Пробивалась трава, в комнатах наливались цветы, все чаще слышался колокольный звон. Запахло Пасхой.

Изо дня в день на высохших улицах все больше набивалось народа чистого, серого, – ходили солдаты вразвалку и пели свои песни, и, куда бы ни посмотрел глаз, отовсюду, из ворот, магазинов, из парадных входов, щелей появлялись люди, – и все пахли весной. Нельзя было разгадать, что случилось, но дома невозможно было усидеть. Раскрывались окна, чтобы выпустить зиму, и теплый сладкий воздух, напоенный солнцем, опьянял человека, и, как женщина, тащил его бродить. И все на улице казались свежими, новыми, походили на молодую траву, и их нельзя было узнать, такие они стали славные... Как будто все дела убежали с весной, и теперь людям можно было жить, как птицам. Удлинилась жизнь, и в день можно было все успеть, поработать и походить по молодевшим улицам и улыбаться себе и встречным. И целый день с утра до вечера, в работе или на свободе люди были

добрими, хорошими и не злились...

Весна возвращалась... Она приходила с полей ласковая, соскучившись по людям... На полях по утрам раздавался рожок, сзывающий солдат на ученье.

Самым важным событием в доме Чарны было теперь то, что выписавшийся из больницы Натан и Фейга влюбились друг в друга. Сближение между ними началось еще в больнице, когда Фейга по поручению Чарны относила Натану сладкое или фрукты. В феврале он неожиданно начал поправляться, а в середине марта уже окреп настолько, что мог выписаться. Натан на первое время поселился с Нахманом, и тут начался настоящий роман, втихомолку, со всей прелестью невысказанной любви. Они прятали свои взгляды от окружающих, переговаривались знаками и, как дети, бегали на свидание куда-нибудь за стенку, у повозок... Фейга рассказала ему правду своей жизни, и то, что она принуждена была себя продавать, делало ее мученицей в его глазах. Они сами не заметили, как влюбились друг в друга, но, хотя разговоры их с каждым днем становились все нежнее, настоящее слово не было еще произнесено: им – потому что не смел, ею – потому что стыдилась.

По вечерам к Нахману приходили гости, иногда Шлойма, Даниэль, Хаим, и в доме Чарны становилось шумно. Блюмочка, оправившаяся от потрясения и привыкшая к Чарне, усаживалась на руках у Шлоймы, и все беседовали о весне, о надеждах, о еврейках...

Обсуждались слухи, упорно державшиеся в городе, о предстоящем погроме на Пасху, но никто серьезно не верил этому, и опять говорили о весне, о надеждах... Нахман рассказывал о Давиде, который был теперь в отъезде, и он ждал его через месяц, – Мейта же держалась подле матери, чтобы не мешать Натану и Фейге.

– Я выйду – говорил Натан глазами Фейге. – Они теперь не думают о нас.

– Я выйду за вами, – отвечала Фейга рукой, – ступайте...

Они незаметно исчезали, – и Фейга, поймав радостный взгляд Мейты, стоя с Натаном у повозок, тихо говорила, испытывая странное счастье в душе:

– Они все понимают... Мне стыдно.

– Я ряд, что понимают, – задыхаясь ответил Натан. – Я хотел бы чувствовать себя здоровым, чтобы сказать об этом громко всем.

– Натан...

– Что, Фейга?..

– Вы очень уверены в том, что хотели бы сказать?

– Я хотел бы также твердо чувствовать себя на ногах...

– Я стала другой... Натан...

– Не говорите об этом. Вы святая!

– Святая? Вы не знаете жизни.

– Я ее знаю, Фейга. Вы святая...

Она подвигала ему низенькую тачку, чтобы он сел, становилась подле него, и он говорил ей задушевным голосом о

жизни, о погибавших девушках, о сладости страдания, и добрые задушевные чувства держали обоих далеко от земли...

А в это время Мейта, переглядываясь с Нахманом, глазами говорила ему:

– Их нет, – они любят друг друга.

И речи о весне, о надеждах, о евреях продолжались...

Наступала еврейская Пасха. Во всех домах окраины теперь шла трудная работа приготовления к празднику. Повсюду чистили, мыли, скребли; звонкие женские голоса неслись по дворам; по утрам шли на рынок, и самыми счастливыми казались дети.

В квартире Чарны стоял содом. Деревянные кровати были вынесены во двор, Блюмочка скребла пол, Чарна мыла столы, а Мейта складывала в корзину посуду. Работая, все разговаривали, а Натан, которого выгоняли из комнаты в комнату, тихо улыбался и покорно слушался.

– Последний раз ты работаешь у меня, – говорила Чарна, обращаясь к Мейте. – Через год на Пасху будешь сама хозяйкой, и я приду помогать тебе...

– Мы будем жить вместе, – красная, ответила Мейта.

– Знаю я теперешних детей! – засмеялась Чарна.

– Тетка Чарна, – вмешался Натан, сидевший теперь в соседней комнате, – не убивайтесь так. Я останусь с вами...

– С Фейгой? – невинно спросила Чарна.

Ответа не последовало.

– Он замолчал, – торжествуя, произнесла Чарна.

– Я замолчал оттого, тетка Чарна, – раздался его голос, – что еще не смею мечтать об этом. Но если бы был здоров, то стал бы посреди двора и крикнул бы всем.

– Я всегда думала, что он сумасшедший, – отозвалась Чарна. – Я и этому бы не удивилась.

– Тетка Чарна! – произнес Натан, появляясь у порога.

– Я – Чарна, – знаю...

– Вы самая дорогая женщина, которую я видел в жизни!

– А вы самый глупый из всех евреев!

– Оставь его, мать, – вмешалась Мейта.

– Он самый глупый, – заупрямилась Чарна – За благословением идут к матери, а не к тетке...

– Мать, вода застыла в ведре, – сказала Блюмочка. – Скоро вечер. Не мешайте, Натан!

Натан исчез и через минуту опять вернулся.

– Тетка Чарна! – произнес он...

– Ну, Натан?

– У меня скверные предчувствия...

– А у меня хорошие, Натан.

– У меня скверные, я вам говорю...

Он опять вышел, а Мейта, посмотрев в окно, сказала:

– Вот Нахман идет...

К вечеру все было приведено в порядок, и на завтра осталось совсем мало работы.

– Ну, слава Богу, – произнесла Чарна, подавая ужин. – Последний раз я провожу вечер перед Пасхой с дочерью и ее

женихом.

Вскоре пришла Фейга, и не успели ее встретить восклицанием, как в дверях показалась длинная фигура Даниэля.

– Ого! – обрадовался Нахман, но сейчас же осекся, испугавшись его лица. – Что с вами?

Все вдруг поднялись со своих мест и окружили Даниэля.

– Разве вы ничего не слышали? – пробормотал он. – Ведь об этом два дня звонят в городе... На эту Пасху мы уже не вывернемся.

– Не может быть? – произнес Нахман упавшим голосом.

– У меня было предчувствие, – спокойно отозвался Натан.

Чарна всплеснула руками и впиалась глазами в Даниэля, который продолжал рассказывать... Ужас нарастал быстро. И он был знаком всем – как будто напротив становилась стена, утыканная ножами, на нее гнали, и нельзя было не идти... Они стояли, сбившись в кучку, кроме Натана, испуганные, с закипавшей ненавистью в душе против людей, угрожавших ежегодно грабежом, избиением... А Даниэль уже рассказывал о том, что в трактирах раздавали листки, в которых призывали к грабежу и резне, и о том, что сегодня сам слышал от чернорабочих.

– Нас перережут, как куриц, – бледный от ужаса, говорил он, – куда нам бежать, куда спрятаться?..

– Не говорите, – крикнула Мейта, – я умру от страха!

– Мы дешево не дадимся, – побелев, произнес Нахман, – что, что, а этого не будет!..

– Ты хочешь идти против красных рубашек? – затряслась Чарна.

– Нахман! – взмолилась Мейта...

– Пусть грабят, – с усилием выговорил Даниэль, – куда от ножа спрятаться? Я говорил вам, Нахман, что эту проклятую страну нужно покинуть... Теперь нам покажут, где наша родина...

– Мы сами пугаем себя, – отозвалась Фейга. – Каждый год говорят об этом. Не помните, что делалось в прошлом году?

– Из твоего рта – да в уши Господа, – благоговейно произнесла Чарна, посмотрев на небо.

Никто не думал об ужине. Блюмочка скоро уснула, все перешли в комнату Нахмана, а Чарна, уложив девочку, пошла к соседям разузнать, что им было известно.

Во дворе царило необычное оживление. Соседи переходили из квартир в квартиры, и слово «грабеж» было на устах у всех. Никто не знал, кто первый пустил этот слух, но одной искры было достаточно, чтобы зажечь пожар страха. Жизнь как будто раскололась надвое. До сих пор была одна, теперь начиналась другая, не бывшая ни в какой связи с прежней. Приходилось сразу и вдруг оторваться от всего, что требовала текущая минута, забыть о делах, о празднике, о завтрашнем дне и превратиться в несчастных, отверженных, ненавидимых и опасных, которых жаждут истребить враги. Женщины, замирая от ужаса, держались возле мужчин, и в каждой квартирке, сбившись в кучку, шептали, озираясь, о вла-

стях, о своих судьбах, – и было так, будто эти люди впервые познали себя евреями.

В третьей квартире какой-то старичок, глуховатый, с остановками и вдумываясь в события, стоявшие у него перед глазами, рассказывал о «большом грабеже», и молодые с содроганием слушали этого живого свидетеля старой жизни.

– Город был белый, – с трудом произносил старичок, – да, белый, белый; евреи бежали туда, сюда, а пьяные «красные рубашки» летали, как черти...

– Вы пугаете народ! – кричала какая-то женщина старичку на ухо.

– А, что? Народ? – говорил старичок, озираясь... – Ну, добрая моя, пусть я их пугаю. Лишь бы красные рубашки их не испугали...

– Кто слышал, – спросил коренастый столяр, – что евреи убили русского мальчика?

– Кто убил, кого убили? От кого вы слышали? – раздались испуганные голоса.

Чарна бегала из квартиры в квартиру, ловила слухи на ходу и все больше падала духом.

– Когда же люди помирятся? – спрашивала она громко. – Или этого не никогда не будет?..

Между тем Даниэль ушел, и все полегли. Нахман, оставшись один, долго не мог уснуть... Он старался не поддаваться отчаянию, но невольно думал о евреях, о евреях... Как будто его жизнь раскололась надвое. Лишь вчера еще была

ясна и понятна будущая жизнь и казалась наградой и на славную борьбу, в которой он примет участие. И было так, будто он стал на вершине высокой горы и оттуда не орудия утонченного гнета, не низкую жизнь бездонного труда и грязи, не окраины и неволю видел он, а свежих, здоровых, равных людей, в чистых просторных домах, и новую жизнь человека... Теперь все, державшееся крепко в душе и в мыслях, зашаталось, и стояли Дина и Эзра перед глазами и говорили:

– Дорогу народу!.. Нужно пойти домой!

– Натан! – громко позвал он, не выдержав томления.

– Я думал тоже об этом, – спокойно отозвался Натан...

– Мы будем защищаться...

– Я, – с усилием выговорил Натан, – люблю Фейгу. Мы без ненависти примем смерть, если нужно.

– Ты любишь... Но мы должны защищаться, – повторил Нахман.

– Мы с Фейгой предадим себя.

Нахман присел от волнения и, как после кошмара, долго старался понять, что с ним

– У меня дрожит сердце, – тихо выговорил он. – Это страх, Натан? Может быть, за Мейту? Ты должен защитить Фейгу.

Он стал ждать ответа и долго лежал с раскрытыми глазами, но ответа не было.

– Нас будут бить, – бессильно думал он, борясь со сном. – За что? Если бы Давид был здесь...

На следующее утро он рано вышел из дому, чтобы побро-

дить по городу. Когда он вошел в ряды, то невольно остановился, пораженный необычной суетой. От старого рынка до еврейского базара двигалась разношерстная толпа. В воздухе держалось какое-то невнятное шуршание, и певучие выкрикивания торговцев заглушались разговорами, торопливыми и неоконченными. Небольшая кучка евреев, делавшая закупки к празднику, уплотняла крестьянскую толпу и шла, озираясь, не смея громко заговорить перед людьми, которые должны были завтра разгромить их. Нахман, вмешавшись в толпу, передвигался с ней и внимательно прислушивался к разговорам. Где-то на миг сверкнули глаза Даниэля, – оба хотели подать друг другу знак, и толпа разделила их. О предстоявшем погроме говорили повсюду, и постепенно перед Нахманом раскрылась правда. Целую неделю как в городе, так и окраинах готовились к грабежу, и в толпе то здесь, то там, свободно, будто это было истиной, рассказывали об убийстве евреями христианского мальчика. В воздухе пахло грозой... И опять то здесь, то там рассказывали, что в трактирах голодающему народу раздаются листки с призывом к резне.

Нахман останавливался, снова шел и теперь уже был уверен, что надвигается великое несчастье. Когда он выбрался из толпы, то от ужаса долго не знал, что ему делать. Потом бесцельно тронулся по просторной улице. Встречные христиане вызывали в нем негодование и злость. Они шли мирные с виду, будто не носили в душе ничего злодейского, и

он не мог постигнуть, как эти мирные люди смогут завтра начать расправу с другими мирными, невинными людьми, с которыми до сих пор жили в ладу. И в каждом их взгляде на него ему чудилась угроза. Когда он прошел мимо строящегося дома, где на лесах работали каменщики в красных рубашках, смутное чувство страха пронизало его всего.

– Пойти бы в трактир и там еще послушать, – пронеслось у него.

Но он почувствовал, что его ожидает новое огорчение, и сейчас же отказался от этой мысли.

– Пойду лучше к Шлойме, – решил он.

Он ускорил шаги, обогнул рынок и углубился в окраину. Евреи уже возвращались с базаров, и в каждом лице, нахмуренном и бледном, он читал свое томление. И он вдруг пошел с ними в странном волнении оттого, что у них общее горе, – как с родными, легко заговаривал с ними, и они отвечали ему...

Шлойму Нахман нашел окруженным толпой. Он стоял посреди комнаты, битком набитой евреями, и говорил. И после каждой фразы народ, как в храме, тихим хором повторял его последнее слово...

– Евреи, – пронеслось у Нахмана, как в чудном сне, – вот мои братья.

Шлойма как бы вырос на глазах. Он стоял вдохновенный, гордый и прямой, со взором юноши и его голосом, и лилась неотразимо обаятельная чудная речь. Он говорил:

– ... Не твердите мне: они; люди вы все, – но ненависть должна у вас быть против насильника своего или чужого. Что дрожите? Ненавистью правого сильны вы. Я учу вас так: дух гонимого должен быть закален; но соединитесь, как волки, оскальте зубы и выставьте когти врагу. Восстаньте! Насильник близок: вот шаги его. Не бойтесь, он слаб, ибо неправда ведет его. Спиной к спине станьте друг подле друга, сосед подле соседа. Пусть будет храбрость ответом насилию!

– Храбрость насилию! – прогудела возбужденная толпа.

– ... Но, сжав кулак, вложите в него ваше сердце. Ибо, как они, вы сами, – и они, как вы. На удар ответьте десятью, – из них девять для тех, кто дал насильнику камень против вас, – ибо не враг, то брат идет на вас!

Нахман с волнением слушал, заражаясь настроением толпы, и жадно ловил каждое слово Шлоймы. В комнате все больше набивалось народа, и в углах уже раздавался заунывный плач женщин.

– Пойду еще к Даниэлю, – подумал Нахман, когда в толпе заговорили.

Он незаметно выскользнул из комнаты и вышел на улицу. Теперь он чувствовал себя бодрее, подвигался с поднятой головой, и встречные не пугали его... Не враги, а братья, – он видит их в настоящем свете, таких же загнанных, голодных, слепых к истинному виновнику их страданий, – и он не боялся.

– Мы будем защищаться, – возбужденно думал он, – мы

будем защищаться...

Даниэль уже был дома, когда Нахман пришел к нему. Комната сияла предпраздничной чистотой, но уныние царило во всех углах. Мойшеле сидел подле матери и каждый раз спрашивал:

– Ты еще не весела, мать?

И когда она отвечала: нет, дорогой, – он опускал голову и шептал: – когда же?

Сам Даниэль сидел с Эзрой, со столяром Файвелем и Лейзером и тихим голосом рассказывал им о том, что сегодня узнал.

При виде Нахмана он вскочил, натянуто улыбнулся и, как будто у него была неприятность, которую хотел скрыть, – искусственным голосом крикнул:

– Ну, вот и вы, Нахман! У вас очень веселое лицо...

– Я иду от Шлоймы, – ответил Нахман, здороваясь и удивляясь, что ни Эзра, ни Лейзер не ответили ему на приветствие.

– Вы могли бы не уходить от него, – с гневом произнес Лейзер.

– Что это значит, Даниэль? – с изумлением спросил Нахман.

– Пусть он отправляется к Шлойме! – отозвался Эзра, с ненавистью глядя на него. – Изменник должен идти к своим.

– Я не понимаю вас, Эзра, – проговорил Нахман, побледнев.

– Он не понимает! – жестко передразнил Лейзер.

– А события понимаете? – вскипел Эзра. – Хватает у этого вас для вашей ничтожной головы, вашего ничтожного сердца? Да отвечайте же, или я вам в лицо плюну! Что скажете теперь? Дождались? Отвечайте же, где ваша родина?

– Где ваша родина? Выложите-ка на стол? – подхватил Лейзер.

А Файвель, глядя свирепо на Нахмана, точно тот был виновником событий, сердито спрашивал:

– Что скажете на несчастного еврея?

– Я не могу так разговаривать, – отозвался Нахман тихим голосом, – вы готовы побить меня. Но... в семье дерутся, помиряются...

– Что он сказал! – крикнул Эзра, затрясшись от негодования, – он сказал: в семье? Собираются грабить, убивать... Вы знаете, – с силой произнес он, повернувшись вдруг к Нахману, – чья вина наших несчастий? Не знаете? Ваша! У вас не заговорило сердце от ужаса? Ваша, слышите? Вы, равнодушные, изменившие своему народу, – вы подготавливаете и вызываете грабеж... Вы этого не знали? Невинные... Вы, вы... Вы потеряли все, что связывало вас с народом, и вы больше наших врагов желаете, чтобы евреи исчезли. Вас камнями забросать нужно!

– Эзра, нужно же перестать, – вмешался Даниэль.

– Ваша родина здесь? – не унимался Эзра, мигая большими глазами. – Скажите, где? Покажите место в этой огром-

ной стране, где мы не страдали бы за то, что мы евреи. Покажите наследство... Десять столетий мы живем здесь, где ступала наша нога, – все расцвело. Мы оживляли деревни, города, мы вносили ум, мы подавали пример доброй семейной жизни, нашей трезвостью, каждый дикий уголок страны впитал пот наших трудов, мы боролись с невежеством, мы проливали кровь за страну... Где наследство от трудов десяти столетий? Миллионы людей приносили благо стране, – что дали нам взамен? Это знает каждый мальчик... Взамен нас били, грабили, убивали и ежедневно выдумывали новое наказание, согнали нас в черту, точно не они, а мы, святые работники, были волками для людей. Одним сильным словом, нас тысячами выгоняли из насиженных мест в городах, – кто сосчитает, сколько слез мы пролили за добро, принесенное стране? И страну, где ваш народ живет вне закона, вы называете родиной? Стыд вам.

– Бейте словами этих подлецов! – прорвался Лейзер, сверкая глазами. – Плюньте ему так в лицо, чтобы всю жизнь он не мог смыть этого пятна... «Рабами мы были у фараона в Египте, и Бог сильной рукой вывел нас из него». И эти грязные уста с легким сердцем будут произносить драгоценные слова надежды...

Теперь Нахман словно во тьме очутился. Он чувствовал, как яд и правда этих речей проникают его и возбуждают ненависть новую и злую к насильникам. Десять столетий святой жизни! Разве он знал об этом? Евреи! Кто они были – ра-

бочие, лавочники, торговцы бедняки? Святые мученики! И он, пораженный, слушал, не имея что ответить на этот высокий крик о страдании народа.

– Вы не хотели вдуматься, Нахман, – мягко выговорил Даниэль.

– Я говорю, – встрепенулся Нахман, – что родина здесь... Десять столетий дают нам право на это... Здесь мы будем бороться. Настанет день, когда мы, с «ними» же, взявшись за руки, скажем громко в один голос...

– Выгоните его, Даниэль, – крикнул Лейзер, – или кончится худо! Его слова режут меня, как ножи.

– Кто возьмет вашу руку? – подхватил Эзра. – Чернь? Но я хочу, чтобы ваша голова думала. Вы должны теперь думать, а не отговариваться словами, – ваша жизнь поставлена на карту... Отвечайте, с кем вы будете работать рука об руку?

– Вот так хорошо, – пробормотал Даниэль, – это к делу. Я бы, – прибавил он неожиданно, как будто все время только и собирался об этом сказать, – жизнь отдал, чтобы избавить нас от страданий. А вы, Нахман, холодны... Вы холодны, как самый холодный камень. Завтра пойдет плач по городу... Приложите, Нахман, руку к своему сердцу.

– Но что я вам могу ответить? – с отчаянием вырвалось у Нахмана – Вы вините меня... за что? Разве я хочу зла народу?

– Так делайте добро, – сердито произнес Фейвель. – Вы еврей – за народом идите! Не отставайте от него, как теленок

от матери...

– Вы напрасно вините меня, – опять повторил Нахман, глядя на каждого в отдельности. – Я знаю одно: у несчастных всех одна дорога...

Его снова остановили, возразили, и ненависть росла между ними. Сыны одного народа, они стояли друг против друга, как враги, и был в этом символ какого-то высшего несчастья, когда одно горе не рождало одного усилия.

– Послушайте, – говорил Нахман, я знаю наших врагов. Я вырос с ними, работал с ними... Я знаю, как они живут, как думают. Они не злы, и у них нет ненависти к нам. Я видел... Так же тяжела их жизнь, как наша, так же они измучены, так же задыхаются под гнетом. Я только что от Шлоймы... Он сказал: не враг, но брат идет на нас, – и в этом правда. Мы дети одних страданий, одной ненависти... Теперь их натравили на нас, – будем защищаться, будем храбрыми. Но кто знает? Может быть, завтра мы вместе с ними поднимем руку на врага...

В тоне его уже слышалась уверенность. Как будто враги ослабевали, и он видел победу своих. Вот вышли рабочие... Со всех сторон – из фабрик, из заводов, из домов-лачуг показались они... Они выступали медленно, озираясь, они еще колебались... Вот вышли рабочие, – христиане, евреи и другие, они соединялись, строились в ряды...

– Вы видите, – с ненавистью кричал Лейзер, – вы видите...

– Я вас не узнаю, – произнес Даниэль, обращаясь к На-

хману и не поднимая глаз на него, – пусть все правда, что вы сказали, – теперь не время говорить об этом. Теперь осталось одно: плакать о родине, плакать о беззащитности, плакать о нашей несчастной судьбе... Перестаньте, я умоляю вас. Если бы вы знали, как я, что делается в городе!

Он оборвался, и от этих простых, ясных слов отчаяния все вдруг смирились...

Опять стояли родными несчастные сыны вечного народа... Снова они жили вне закона в стране-мачехе и с одним чувством думали о завтрашнем дне...

Вечером евреи сидели за пасхальным столом и уныло читали: «Рабами мы были у фараона в Египте и Бог сильной рукой вывел нас из него»...

Во всех домах царили ужас и смятение. Снова предстояли тяжелые дни испытаний, снова наступали черные дни гонений, снова страница истории должна была быть запятнанной кровью невинных людей... И так в страхе и молении, в ужасе и слезах проходили чистые, светлые дни Пасхи, и не было одного сердца в городе, которое не трепетало бы от предчувствий...

Не ночь – день Варфоломея быстро приближался...

12

Погром начался...

В воскресенье, шестого апреля, ровно в два часа дня, банды простонародья, имея впереди себя отряд мальчишек, пьяные и злые, создали начальный шум, который должен был заглушить в них последнее чувство жалости к людям и понимание своих действий. Звуки разбиваемых камнями стекол были первыми, что разорвали преграду напряжения и ужаса минуты, – были первыми словами таинственного языка, призывавшего к насилию, словами могучими, убедительными, повелительными... И воистину грозный, воистину страшный крик пронесся по городу:

– Бей жидов!..

Погром начался...

Окруженные любопытной праздничной толпой и направляемые невидимыми вдохновителями, насильники ворвались в первые еврейские дома, и плач и вой потерявшихся от ужаса людей залил улицы всеми человеческими стонами. И этот плач, точно клятва в слабости, прозвучал как сигнал, и погром забушевал... Подобно обезумевшим от ненависти, подобно мстителям за долгие годы мучений, насильники вбегали в дома нищеты и, слепые от гнева, от радости, от возбуждения набрасывались на добро... Они разбивали двери, окна, ломали мебель, посуду, выпускали перья

из подушек и, захватив все, что можно было унести с собой: деньги, платье, – летели дальше среди одобрений толпы. Они летели, как демоны в своих оборванных одеждах, летели, страшные, нося в себе жажду разрушения, искоренения тех, в ком видели нечистых, врагов, – которых считали теперь истинными, виновниками своей несчастной жизни. Пьяные и трезвые, с лицами, дышавшими злобой, победой, казалось, они уже осязали руками мечту о хорошей жизни, спокойной, обеспеченной, которая сейчас воцарится, как только они уничтожат евреев. Они забыли о дружбе, в какой жили с евреями, они забыли о собственном гнете, истинных виновников этого гнета, – они видели только врага, которого им указали: еврея, евреев... И чувствуя только ненависть к евреям, которую еще в детстве им привили, и беспощадный гнев, минуя несчастную жизнь бок о бок с евреями, они с изуверством, бешенством, точно настал последний день мира и другого не будет, разбивали и уничтожали все, что попадалось им в руки. Они ничего не щадили, и мольба и крики не трогали их. С каждым часом безумство разрушения нарастало, и теперь насильники терпеливо оставались в домах и ломами, топорами, не спеша, взрезали, разбивали, разрушали жалкое добро несчастных жертв...

Погром бушевал, погром разрастался... С изумительной быстротой, как пламя в бурю, разносилась по городу страшная весть, и евреи, побросав свои жилища, с плачем и ломанием рук, обнимаясь и прощаясь, спасали свою жизнь. Они

прятались в погребах или у христиан, если те принимали их, – на чердаках, в отхожих местах, на крышах, в конюшнях, и покорные, как всегда, не смея думать о борьбе, выбегали на улицы...

И тяжелый, мучительный гнев бил по сердцу при мысли о неслыханной несправедливости, которая совершалась над невинным народом... Живые стены, молчаливые и покорные! Ими укорялось настоящее зло, и оно отдавало их народному гневу, чтобы насытить жажду его мщения, столь страшного, столь справедливого. Кто мог защитить евреев, когда они заранее были принесены в жертву? И поразительный вид представлял собой город: отданный во власть обезумевших насильников, он оставался без власти, и все, что происходило в нем, происходило так, будто он сам оторвался от общей жизни страны. Книга человеческого закона лежала у ног, и пьяные, остервенелые люди с презрением топтали ее...

Погром продолжался... Он рос, разрастался, охватывал новые слои и, как упавшее с неба бедствие, подобный стремительно раскачавшейся цепи, – бил по всем сторонам, создавая общее несчастье населения. Изуверство насильников удвоилось, и радость победы над незащищавшимся врагом увлекало толпу. В кучках громивших, как атаманы, бежали люди в хороших одеждах, суетились, указывали, направляли, и их крики, точно хлыстами, подгоняли гнев. В воздухе стояли и неслись и падали пух, перья, и маской невинности накрывали землю города... Повсюду валялись выброшенные

вещи, громоздкие и легкие, и прилично одетая толпа: хищные мужчины, женщины, дети, – без отвращения и ужаса, с алчностью трусливых разбойников подбирали их, прятали под платьем и уходили, невинно моргая глазами и качая головами...

Стоны и вопли неслись по всему городу... А охота не прекращалась, и чем увереннее насильники чувствовали себя хозяевами положения, чем жалобнее евреи молили о пощаде, тем гнев их возрастал. Словно до сих пор их обманывали, а они лишь сейчас прозрели и ясно увидели врагов. Евреи молили, евреи выли от страха, евреи убегали, – они были виновны... – убегаящих нужно поймать и убить, покорных – истязать, замучить, бить... Дикие слухи разносились, передавались из уст в уста, туманили головы, и смятение росло. И самое странное в этом стихийном нападении было то, что им как будто управляла чья-то сознательная воля, и до сих пор в среди насильников не случилось ни одного момента замешательства, не было сделано ни одной ошибки... Все шло, как заранее организованное. С ночи на утро, – и это потом заметили, – в христианских домах все ворота были отмечены крестом, а в окнах стояли иконы, кресты; святые изображения, словно в насмешку, служили указателями для насильников, – где грабить и убивать не нужно, и где грабить и убивать следует... И было в этом заговоре воли сознательной со стихией нечто воистину устрашающее, нечеловеческое...

Банды неслись среди шума и одобрения любопытных, и,

пока не раздались стоны истязаемых и убиваемых, погром все еще был похож на созданный кошмар. Но с первым убитым как бы отбросились последние шлюзы, и кровавый гнев кровавой волны разлился по городу. Никто никогда не слышал таких безумных молений, таких криков боли и ужаса, никто никогда не видел этих утонченных истязаний, которым подверглись беззащитные жертвы. Распаленные подстрекальством, дикой свободой, которой ранее не знали, одобрением, насильники потерялись от торжества. Самые дикие планы мести рождались вмиг, и весь ужас варварства, живущий в человеке, прорвался наружу. Евреи искали спасения, – их находили повсюду. На улицах за ними охотились с воем, с воплем, с ревом, – их сталкивали с дрожек, с конок, задерживали на вокзалах, ловили подле вагонов, вытаскивали из храмов, хватали в храмах, – и тут же безжалостно избивали, убивали, обирали, не различая ни пола, ни возраста. Ничто не могло смягчить инстинктов насильников, и на этот раз должен был быть исчерпан весь катехизис мучительства. Они врываются в дома, искали евреев в погребах, на чердаках, убивали, оскверняли, насиловали девушек, избивали их или вспарывали животы, или отрезали груди, или душили младенцев, и, убегая, оставляли за собой кучи людей без сознания, трупы... Они били дубинками, ломami, топорами по голове, сопротивлявшимся мужчинам отрезали языки, отпиливали руки, выдавливали глаза, или забивали гвозди в нос, в голову...

На окраине резня началась раньше, чем в городе...

Нахман и Натан, окруженные Мейтой и Фейгой, все еще не верили... Ворота дома были заперты, мужчины ходили по двору, и хотя они были бледны и нахмурены, а женщины ломали руки и причитали, все еще почему-то казалось, что гроза минует их. Старуха Сима и Чарна спрятались под кроватями, Мехеле держался подле матери, а Блюмочка, стоявшая у окна, каждый раз спрашивала:

– Что это за крики, мать Чарна, почему во дворе плачут?

И Чарна отвечала:

– Это оттого, Блюмочка, что город горит... молчи...

– Я боюсь, Нахман, – раздавался голос Мейты, – бежим отсюда.

– Во дворе много мужчин, – упорствовал Нахман...

С момента погрома он как бы потерялся. Он отвечал невпопад, о чем-то думал, без устали шагал по комнате, – но в душе его росла великая печаль. Было так, будто то огромное, что зажглось внутри его и ослепило, вдруг начало гаснуть, разрушаться, и оттого, что оно напрасно зажглось, поманило и теперь погасло, – потерялась охота к жизни. Погром? Разве могла удержаться почва под ногами? Где была высокая мечта Давида о грядущем равенстве народов? Где правда, еще вчера осязательная? Где вера, что евреи и христиане – братья? Одной жизни, одного страдания рабов все-таки что-то огромное разделяло, и случилось лишь, что более сильные... И каждый раз, когда мука душевного крушения одолевала

его, он подбегал к Мейте и лихорадочно спрашивал:

– Ты еще веришь, Мейта, – может быть, ты хоть веришь?

А Мейта, замученная, испуганно отвечала вопросом:

– За что нас бьют, Нахман?

Только Натан оставался спокойным... Он не молил, не спрашивал, и в каждом взгляде, бросаемом Фейге, по-прежнему лежала сила его убежденности.

– Ты не боишься, Фейга, – говорил он, не выпуская ее руки, – скажи, что не боишься...

Но на второй день началось... Часов в десять утра раздались первые удары в ворота.

– Они здесь, – крикнул кто-то не своим голосом...

Послышались вопли. Вдруг ворота сорвались, с грохотом повалились на землю, и толпа человек в сорок с криком: бей жида! – ворвалась во двор. Предводительствовал плотник, сорокалетний человек с курчавой бородой и приплюснутым носом. Он бежал впереди странными, нехорошими прыжками, и красная рубашка на нем развевалась, как знамя жажды крови. За ним неслась толпа черного народа, вооруженная ломami, дубинками, топорами, и грозные крики их: бей жида, звучали, как удары по меди... Сейчас же пронесся вой, крик, мольба... Человек в красной рубахе остановился, гаркнул, ахнул и совсем неожиданно ударил дубинкой по голове, пересекавшего ему путь еврея. Падение и крик еврея сразу превратились в сигнал к грабежу, к резне... Погромщики рассеялись по квартирам, и сейчас же оттуда пошел про-

тивный звук разбиваемых стекол, мебели, рам, дверей... По двору же, ища спасения, бегали мужчины, женщины, дети, бросались на колени перед встречными погромщиками, умоляли, – их избивали, они поднимались, летели к боковой стене, чтобы перепрыгнуть в чужие дома, – за ними гнались, разбивали головы, наносили раны... Вой и крик становились невыносимыми. В один миг широкий двор превратился в поле бесславного сражения.

Великая минута страдания приближалась...

Натану и Фейге удалось укрыться в погребе, а Нахман, Мейта, Блюмочка и Чарна, не успевшие спастись из-за девочки, вернулись в свою квартиру и заперлись. Сима все оставалась под кроватью, и ее оберегал Мехеле.

У окна, прижавшись к нему липом, показалась фигура плотника в красной рубахе. И он долго заглядывал в комнату.

– Ого, ребята, сколько жидов! – послышался его хрипловатый голос. – Напирай на дверь!

Чарна от страха залезла под кровать и молящим шепотом крикнула:

– Спрячьтесь, мои дети, спрячьтесь, мои дорогие; Блюмочка, иди ко мне!

Сильный удар ломом потряс дверь... У окна опять появилось лицо плотника, и теперь оно было страшно своим тяжелым взглядом и расползшимися по стеклу седеющими усами.

– Ломай двери! – скомандовал он, разглядев Мейту.

Блюмочка подлезла под кровать, легла подле Чарны и обняла ее, и все движения и моления совершались так тихо, что нельзя было бы догадаться, готовятся ли здесь к страданию или делается пустое дело. Мейта, прижавшись к Нахману и как бы предчувствуя свою судьбу, тихо застонала:

– О Нахман, о мой Нахман!

Внезапно куча голосов огласили комнату. То дверь уступила напору, и человек восемь в изорванных рубашках ворвались в сени... Послышался нечеловеческий вопль, и он пропал в хоре голосов тех, которых истязали во дворе. Это крикнул Мехеле. Как собака, он не отходил от кровати, под которой лежала Сима, шептал ей ласковые слова и не смел всплакнуть, чтобы не испугать ее. При виде здорового погромщика, грозившего ему пальцем, он дико крикнул, и сейчас же из-под кровати показалась седая голова Симы... Погромщик с куском железа в руках тяжело задышал, внимательно посмотрел на голову старухи, и ноздри его затрепетали... Потом перевел взгляд на Мехеле, кричавшего с раскрытым ртом, вдруг вздохнул, неловко размахнулся и прямо по лбу, прицелившись в середину, изо всей силы, будто кнутом стегнул, – хватил железом... Старуха повернула голову щекой вверх и жалобно завывла. Мехеле, цепляясь за воздух руками и обливаясь кровью, без звука повалился.

– Помогите! – выла Сима, и с трудом и мучениями стала ползти из-под кровати. – Убили сыночка... сыночка...

Погромщик схватил старуху за волосы и, обмотав сединами руку, подергивая, потащил ее за собой и кричал густым, жирным голосом:

– Давай деньги, стерва, деньги давай!..

И дергал седые волосы, и она выла, потерявшись от ужаса, а он бил ее кулаками в лицо, в спину...

Во второй комнате двое разбивали все, что попадалось им в руки, двое забирали с собой вещи, молоденький погромщик вытащил Блюмочку за ноги и, не обращая внимания на ее крики, понес в соседнюю комнату, а от двух последних Нахман отбивался ножками от табуретки, и охрипшим голосом, обезумевший, не кричал, а ревел.

– Не трогайте девушку!..

Но Мейтой уже овладел плотник в красной рубашке с приплюснутым носом, и, пока Нахмана вытаскивали из комнаты, она тщетно билась и кричала в крепких руках погромщика.

– Хорошая жидовочка, – слышался гугнявый голос плотника, и Нахману казалось, что с него сдирают шкуру, – ого, кусаешься, цыц, холера! – вот так, лежи и не брыкайся.

– Нахман, о мой Нахман, – донесся к нему ее жалобный крик...

Нахман рванулся и потащил за собой разбойников, не чувствуя ударов, которые они теперь наносили ему... И когда он добрался до порога двери, израненный, избитый, с лицом, залитым собственной кровью, и увидел то, что проис-

ходило там, то каким-то торопливым маленьким криком, захлебываясь от рыданий, завопил:

– Мейта, я сейчас, Мейта... сейчас помогу тебе!..

Погромщики набросились на него, и она, глядя, как его били, кричала:

– Нахман, о мой Нахман!..

Она лежала на полу, обнаженная по пояс, в одних руках от кофточки, – кофточку сорвали с нее, – с синим от кровоподтеков лицом, жалкая, изуродованная, – а погромщик-плотник, сидя подле нее, наносил ей удары, когда она билась, и постепенно овладевал ею... Нахман остановился, предавая себя; и то ужасное, что он испытал в первый момент, когда насильники ворвались, теперь как-то тронулось или завертелось, превратилось в мышь, корову, в медведя, вошло в голову и залило его мраком... И вдруг он заметил ползущую старуху. Она ползала, как большая собака, у которой сломали ноги, с жалобными глазами, подвывала, или кричала... Она ползла от кровати прямо к человеку в красной рубашке и, когда добралась до него, поднялась на колени и так, стоя за его спиной, замолила громко, громче, а потом тихо, тише, смиренно...

– Не трогайте мою девочку, – не смейте ее трогать... Она честная, она девочка, она добренькая... Не трогайте мою девочку, она маленькая, прошу вас, молю вас... Вот я тут, я все вытерплю, будьте добрым, прошу вас, молю вас...

И она била себя руками по голове, лизала дорогие косы

Мейты, валявшиеся на земле, целовала плотника в затылок, в спину, в руки, а он с злостью кулаком отбрасывал ее... Мейта протягивала руки к Нахману, к матери, и голоса у ней уже не было... Один из разбивавших не выдержал молений Чарны и ударил ее дубинкой по голове. Она замолкла...

Нахман уже дрожал и бился... Кровь быстро прилиwała в его голове, что-то стало прыгать перед глазами, может быть, медведь, или птичка, или муха, и вдруг, отбросив погромщиков, весь залитый кровью, полившейся из носа, из головы, — подбежал к плотнику, овладевшему Мейтой, вдруг прижался зубами к его волосатой руке, и сейчас же поднял лицо с окровавленным ртом... Пронесся длинный, хриплый вой...

Погромщики потерялись... Но вот кто-то догадался, подкрался сзади к Нахману и рассек ему череп... В соседней комнате старуха Сима лежала без сознания от полученного удара в голову. С Блюмочкой уже справился молоденький паренек. Раздраженный ее криками, ее воплями: мама, мама, изнасиловав ее, он тотчас же оглушил ее дубинкой... Теперь Мейта была одна в комнате с плотником... Она лежала неподвижно, истерзанная и замученная нечистыми ласками. Лежала не Мейта, а что-то до последней степени обиженное, несчастное, с темным вспухшим лицом, со следами зубов на плечах, на руках, на груди, обнаженная, в крови... И она лежала неподвижная, равнодушная, и это бедное тело, опозоренное, заплеванное, и эта бедная душа, опозоренная, заплеванная, как бы молили о смерти...

Погромщик поднялся... Он оглядел тело девушки и плюнул на него. Потом медленно отошел от нее, как бы спрашивая себя, что еще сделать... Станным, потерянным взглядом осмотрел он комнату, в которой все было разрушено, — убитого Нахмана, оглушенную Чарну и, не спеша, стал вытаскивать из-за голенища сапога нож... Как пьяный, он подошел к Мейте, стал на колени, будто собирался помолиться, и повернув нож острием к ее груди, жестом, словно хотел отвязаться от чего-то, ткнул его в тело до ручки. Ее крик и движение рук, как для объятия, тронули его, и он опять, но в другую сторону, ткнул нож, повернул его, вытащил и еще раз ткнул, и долго любовался черной и красной кровью, которая бежала по животу... И снова поднялся, услышав в дверь зов товарищей, убегавших из двора дальше, и снова опустился на колени, весь во власти этого свежего тела, чего-то еще требовавшего от него. Высокая, обнаженная грудь девушки полезла ему в глаза, и он прижался к ней страстно, не понимая, что с ним.

И словно цепи разорвал, опять поднялся и побежал к товарищам...

* * *

Погром бушевал... Погром не стихал, он не хотел стихнуть, и весь день кровавый дождь проливался на землю проклятого города. По улицам шли патрули, подбирали тела и

отправляли их на кладбище, в мертвецкую. И там рядом валялись невинные жертвы созданной резни, выдуманной ненависти... Среди кучи трупов лежал длинный Даниэль с раздробленной головой, прижавшись к Мойшеле, а подле них поместился Шлойма, едва узнаваемый, без бороды, с вытекшими глазами. И кричать хотелось, и было мучительно больно смотреть на это поруганное тело, принявшее смерть в неравной борьбе... Губы Шлоймы были плотно сжаты, будто он собирался сказать:

– Пойте песнь, сила в нас – и вы сокрушите горы...

Где была эта сила? Бессильные воины, воспитанные в рабстве, в страхе, в страданиях, – как постыдно покорно они отдавали свою жизнь... Кто их мог защитить?

Спускалась ночь... Как глаза без глаз, смотрели окна разрушенных домов, квартир... Напоенный чужим страданием, убаюканный стихавшим ворчанием громил, – мирно, сладко засыпал проклятый город... И лишь в погребках, канавах, на поле, за городом не спали евреи, и стонали и плакали о дорогих мучениках, плакали по убитым отцам, матерям, братьям, сестрам, и слепая ночь всеми своими печальми вторила им... И не утихали стоны: святой, кровавый дождь пролился на землю. Он пролился невинно...